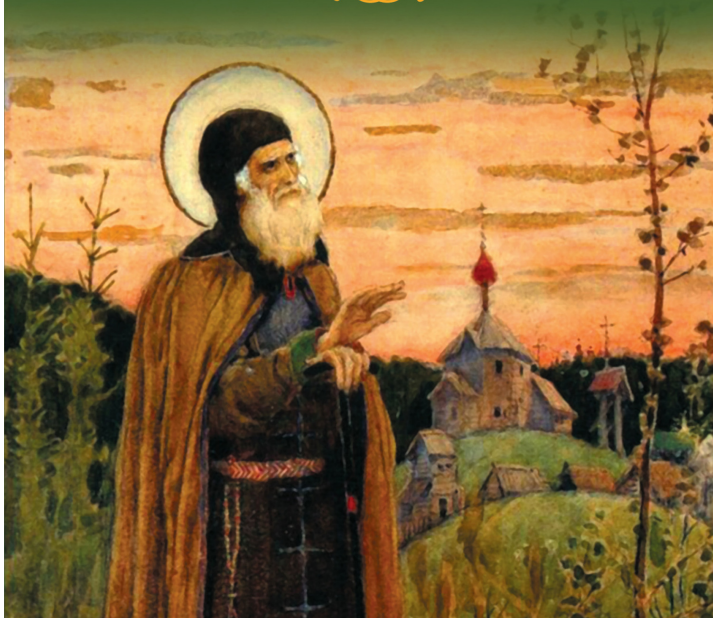


Духовная проза

ЗАСТУПНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

*Сергий Радонежский
и Куликовская битва в русской классике*



**Александр Иванович Куприн
Николай Николаевич Алексеев-
Кунгурцев**

Сборник

Иван Сергеевич Шмелев

Лидия Алексеевна Чарская

Светлана Сергеевна Лыжина

Заступник земли Русской.

Сергий Радонежский

и Куликовская битва

в русской классике

Серия «Духовная проза (Вече)»

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63976100

*Заступник земли Русской. Сергий Радонежский и Куликовская битва в
русской классике. Сборник: Вече; Москва; 2020*

ISBN 978-5-4484-8544-2

Аннотация

Имя преподобного Сергия Радонежского неразрывно связано с историей Куликовской битвы. Он наставлял и вдохновлял князя Дмитрия Донского, пастырским словом укреплял его дух и дух всего русского воинства. Пересвет, в единоборстве одолевший Челубея, был благословлен на бой Сергием. И только благодаря усилиям преподобного «великая вера» в правое дело победила «великий страх» перед «силой татарской». Вот почему Сергей стал в глазах народа заступником Руси и одним из самых почитаемых русских святых, не иссякает поток паломников в основанную Сергием обитель – Троице-Сергиеву лавру, а сам Сергей в русской культуре является символом единства, дающего силу противостоять врагам.

В этой книге, выход которой приурочен к 640-летней годовщине победы на Куликовом поле, собраны классические произведения русской прозы, в которых отражена жизнь преподобного Сергия Радонежского и значение его личности для России.

Содержание

Николай Николаевич Алексеев-Кунгурцев	6
I. Последний «тысяцкой»	6
II. По воле княжеской	16
III. Святой владыка	27
IV. Некомат Суровчанин	41
V. Чародей Хапило	73
VI. Поп Митяй	84
VII. Враг Димитриев	91
VIII. Изменники	100
IX. В литовском бору	111
Конец ознакомительного фрагмента.	114

**Николай Николаевич
Алексеев-Кунгурцев,
Лидия Алексеевна
Чарская, Александр
Иванович Куприн, Иван
Сергеевич Шмелёв**
Сборник

**Заступник земли Русской
Сергий Радонежский
и Куликовская битва
в русской классике**

**Николай Николаевич
Алексеев-Кунгурцев
(1864–1905)**

на маковках московских церквей, далеко еще не столь многочисленных, как ныне.

Было еще довольно светло, но в келье старца монаха, куда мы вводим читателя, – полутьма: слишком скупо пропускает свет маленькое переплетчатое слюдяное оконце.

Тускло мерцают лампы. К одной из них протянулась рука и затеплила тонкую свечку желтого воска.

Огонек вспыхнул и слегка озарил серые стены, простые, деревянные, некрашенные лавки и такой же стол. Человек, затепливший свечу, был молод и богатырски сложен; лицо его – красивое, безбородое – выражало странную смесь чувств; преобладающим, однако, казалась печаль; но часто также в глазах его мелькала искорка нетерпеливого ожидания.

Рядом с ним виднелась наклоненная фигура священника в рясе из бязи¹ и в епитрахили.

Склонился священник над умирающим; колеблющийся свет падал на лежавшего на лавке, отходящего в вечность, бросая тени по желтому морщинистому лицу. Он был старец; седая борода закрывала грудь. Лежал он на лавке, на подостланном монашеском подрыснике, прикрытый монашеской же ряской.

Как ложе, так и вся обстановка кельи свидетельствовали о скудости.

А между тем умирающий мог бы обставить себя со всею

¹ Бязь – бумажная дешевая ткань. (Здесь и далее – примечания по первому изданию, вышедшему в журнале «Русский паломник» в 1904 году.)

роскошью, какая была достижима в то время; у дверей его жилища, обшитых драгоценным алым сукном, стояла бы стража с секирами, тысячи слуг были бы готовы к его услугам. Ото всего этого он оттринулся, жаждая молитвы и уединения, и заперся в тесной келье, в которой теперь и умирал, лежа на узкой лавке.

Старец был «тысяцкой». Это звание уцелело с того времени, когда славяне жили «вечевым порядком». Граждане выбирали себе начальника, который должен был предводительствовать их народной дружиной. При князьях обязанность тысяцкого потеряла свой смысл, но все же они, тысяцкие, занимали почетное положение – быть может, были первыми после князя – имели отряды своего войска и некоторую власть над гражданами.

«Тысяцкой» звался Василием Васильевичем Вельяминовым. Он презрел мирскую суету, удалился от власти и света и принял монашество. Однако звание тысяцкого, несмотря на постриг, осталось за ним.

Василию Васильевичу должен был наследовать его сын – Иван, тот самый молодой человек, который затеплил свечу.

Священник был духовник старца, отец Михаил, более известный под прозвищем Митяй, из села Коломенского.

Он только что приобщил больного Святых Таин, и Василий Васильевич лежал спокойный, недвижимый, с закрытыми глазами.

– Умирает? – шепотом спросил Иван Вельяминов Митяя.

– Кажись, отходит, – ответил духовник и, раскрыв требник, приготовился читать отходную.

В это время старый умирающий пошевелился, веки дрогнули и приподнялись. Он уставил мутный взгляд на сына и едва слышно прошептал:

– Ваня!

Иван опустился на колени у отцовского ложа и наклонил голову.

Тысяцкий с величайшим усилием поднял руку и положил на голову сына. Это движение, вероятно, утомило его, потому что он некоторое время лежал молча и переводил дух.

В келье стояла глубокая тишина, прерываемая только глубокими вздохами больного.

Наконец умирающий собрался с силами.

– Благослови... тебя... Господь... – снова зашептал он. – Прощай... Ваня... отхожу к Отцу... нашему... Сын, помни... живи... так... как Христос повелел... Соблюдай заповеди... Божии... люби ближних... Духа... зла... гордыни... отгоняй.

Силен... Ваня... враг рода человеческого... Знаю – нрав... у тебя... горячий... Смирять себя... Помни... наперед всего... душу блюди... в чистоте... Один ты... остаешься... так Бог тебе... заступник... и покровитель... Не прогневи... Его... Ваня...

Умирающий смолк и плотнее откинулся на подушку. Последние силы его покинули, веки смежились, на лицо лег

землистый оттенок, грудь начала подниматься медленно и неровно.

Иван чувствовал, как холодеет лежавшая на его голове рука отца.

Митяй перекрестился и начал читать отходную.

В келью неслышно вошли несколько монахов и, опустившись на колени, стали молиться.

У молодого Вельяминова сердце рвалось от боли, а где-то в тайниках души коварный голос шептал:

– Отец умирает... Теперь ты тысяцким будешь.

Он сам пугался этой мысли.

– Время ль о сем думать?

Хотел весь отдаться своей грусти и не мог. Беспокойная змейка честолюбия не унималась.

Внезапно умирающий приподнялся и широко открыл глаза. Он смотрел прямо перед собой и, быть может, созерцал то, что оставалось невидимым для окружающих.

Взгляд был радостен и светел.

Затем старец упал на подушку и вытянулся.

Глубокий вздох вылетел из груди, и больше она не поднялась.

Отец Митяй закрыл требник и промолвил, крестясь:

– Царство небесное.

Иван, плача, припал к недвижной груди отца.

Он скорбел, скорбел неподдельно, а в мозгу проносилось: «Теперь я – тысяцкой!»

Несколько часов спустя умерший уже лежал на столе под образами.

Чтец-монах уныло, нараспев, читал псалмы; двое других монахов трудились в сенях, при свете фонарей, над «колодой» для покойника, которая должна была непременно поспеть к утру: на завтра должно было состояться погребенье: в те времена не принято было выжидать, как ныне, трех дней.

Молодой Вельяминов хотел провести последнюю ночь с тем, кто при жизни звался его отцом.

Он присел в уголку на лавочке и в грустном раздумье смотрел на колеблющееся пламя свеч.

Теперь он был один, совсем один на свете... Мать давно умерла, братьев, сестер он не имел. Не было даже дядей и теток, двоюродных братьев и сестер. Один!.. Его это и пугало, и радовало. Свободен как ветер! Но зато ему вспоминалось: один в поле не воин. И тут же мелькало: «А с кем воевать?»

Будущее казалось ясным. Он станет тысяцким, будет в почете и власти.

Даже свои ратные люди будут... А разве этого мало? Сам – что князь...

И честолюбивые думы наполняли голову, отгоняя грустные.

От лампад, от свеч в келье было жарко и душно. Юношу клонило ко сну; он перемогался, но сон морил.

Он негодовал на себя:

– Нешто можно спать в такую ночь?

Но природа брала свое. Дрема охватывала.

Он прижался к уголку. Голова стала клониться...

Мечты и тоска слились как-то в одно. И это «одно» было чем-то смутным. Какой-то хаос...

Но потом блеснул свет, перед которым померкли свечи. Словно кто-нибудь унес их в высь недостижимую. Они двигались медленно, а следом за ними уносились грезы Ивана Вельяминова.

И вдруг свечи померкли. И стал мрак.

Что-то сверкнуло во мраке; точно стрела молнии проблеснула и смеркла.

И опять тьма, но полная жизни. Точно тысячи незримых духов веют кругом.

Даже слышен шум их крыльев... Даже видно, как светится в темноте серебристое оперение...

– Что за диво? Куда я попал?

А шуму все больше... Сверканье крыльев все сильнее.

– Али это призраки? Знаменье!

Вдруг яркий сноп лучей прорезал мрак; свет был так силен, что его не могло вынести зрение.

Серебристые духи пали ниц. И откуда-то с выси, вернее, из выси высот, послышалось пение, от которого таяло сердце.

– Слава в вышних Богу... – пели сладостные голоса.

И в это время юный Вельяминов услышал шепот.

Он узнал, кто говорит: его отец.

– Сладко тебе, сыне... – лился шепот, – ужели от этой сладости уйдешь? Гони лукавого... Я – в обители горней... Взыскал меня Господь милостью не по грехам моим... Приходи ко мне.

– Батюшка, оставь меня с собой! – как бы восклицает Иван Васильевич.

– Поживи, заслужи. Судьбы Божии неисповедимы.

– Как мне жить?

– Сие Христос заповедал. Гони лукавого... Он вьет гнездо в твоём сердце...

Шепот смолк.

Постепенно затихло пение.

Снова мрак.

Тишина жуткая, таинственная.

Что-то проблеснуло багряное... Померкло и вдруг разлилось целым морем пламени. Огненные языки вздымались, как волны... Все выше, выше; казалось, они достигнут до неба – черного, без проблеска.

Потом огненная пучина раздалась, словно раскололась. Из середины поднялся гигантский, блистающий трон.

Страшен был сидящий на нем.

Его глаза метали молнии. Венец из кроваво-красного пламени покрывал голову.

Лицо было черно, как земля. Алые губы искривлены злобной улыбкой.

Задрожал от ужаса Иван.

– Кто ты? – спросил он замирающим голосом.

В раскатах грома послышался ответ:

– Имя мне – Сатана. Я твой помощник и повелитель...

Служи мне...

И вдруг захохотал, и огненные волны всколыхнулись от его хохота:

– Ты уже мой!

И откуда-то снизу, из-под пламенного покрывала, глухо донеслось, как вздох тысячи тысяч:

– Ты – наш.

Волосы зашевелились на голове Вельяминова.

Он хотел перекреститься – рука не повиновалась ему.

– Боже! Спаси! – воскликнул он... и проснулся.

Чтец-монах стоял перед ним и с испугом смотрел на него.

– Чтой-то ты, батюшка, как кричал, – сказал он.

– Привиделось такое, что просто страсти, – ответил Иван, вытирая холодный пот.

– А ты помолись: это лукавого наважденье.

Монах снова принялся за чтение.

Вельяминов встал и подошел к телу отца. Он приподнял ткань, закрывавшую лицо покойника. Василий Васильевич производил впечатление спящего, выражение лица было безмятежно спокойное.

Сын прильнул устами к холодному лбу отца.

– Батюшка! – зашептал он потом. – Обещаюсь тебе не впадать в соблазн. Получу власть – буду добрым господином...

Как отец буду для рабов своих... Голодного – накормлю, бесприютному дам пристанище... Все несчастные будут близкими мне... Не дам поселиться в сердце моем злобе и корысти... Смирю гордыню мою...

Он шептал, и что-то вроде умиления наполняло его душу. Лились слезы тихие, умиротворяющие.

Иван Вельяминов говорил искренне; он действительно хотел так жить, как клялся над безжизненным телом отца. Ему казалось, что он сможет исполнить свой обет.

Если бы кто-нибудь ему в этот момент предсказал, что не пройдет дня, как его добрые намерения словно ветром сметет, он рассмеялся бы предсказателю в глаза и решительно заявил бы, что этого никогда не может быть.

II. По воле княжеской

Есть один великий духовный порок, принесший много бед человечеству.

Порок этот – честолюбие.

Мы разумеем здесь не то благородное стремление выделиться из толпы благодаря своим действительным заслугам, знаниям, способностям, а мелкое тщеславное чувство, заставляющее человека желать выделиться из среды других во что бы то ни стало, и не каким-нибудь великим деянием, а чисто внешним отличием, чином, положением.

Это служение самому себе, высшее себялюбие, недостойное человека вообще, а христианина в особенности. К сожалению, этот порок присущ многим, только не все могут достигнуть цели своих желаний.

Иван Вельяминов, человек не злой от природы, честный и набожный, был далеко не исключением из числа многих, и на этой слабой стороне юношу легко мог уловить лукавый.

Первое серьезное препятствие на пути тщеславных помыслов способно было совратить Вельяминова с прямого пути и кинуть на ложный.

Тысяцкий был слишком важным лицом в Москве, чтобы его смерть прошла незамеченной. Поутру о кончине Василия Васильевича знал уже весь город, и к Чудову монастырю спешили и стар и млад, и знатные князья да бояре, и просто-

людины.

Перед кельей опочившего старца колыхалась целая стена разного люда, а внутри келийка была полным-полна.

Стечение народа было тем более значительным, что ожидался приезд великого князя Московского Дмитрия Иоанновича.

Для юного Вельяминова это утро было началом его торжества. На него, по-видимому, уже все смотрели как на преемника умершего тысяцкого. Бояре «рассыпались» перед ним и, хваля добродетели покойного, не забывали похвалить и самого Ивана; уже обращаясь к нему, они прибавляли почетную частичку «ста», на которую имели право только люди больших чинов, другие должны были довольствоваться лишь прибавкой «су», а то даже и на нее не могли рассчитывать².

– Сделай милость, Иван-ста Василич, уважь, в мой домишко загляни, – приглашал его какой-нибудь седобородый боярин.

И это «ста» и самое приглашение приятно щекотали самолюбие юноши.

Когда он выходил из отцовской кельи, стоявший на дворе люд приветствовал его низкими поклонами:

– Здравствуй, батюшка Иван Василич!

² Частичка «ста» всегда прибавлялась к имени боярина 1-й степени и окольного; боярину 2-й степени прибавлялась частичка «су»; остальных именовали без прибавки.

Все головы обнажались, как по приказу.

Высоко вздымалась при этом грудь Ивана, глаза радостно блестели. В эти мгновения он забывал даже утрату отца; грусть заменяло чувство удовлетворенного мелкого тщеславия.

Вельяминов тихо разговаривал с каким-то боярином, когда извне донесся шум голосов.

– Верно, великий князь, – воскликнул Иван Васильевич и побежал к выходу.

За ним гурьбой пошли бояре; поп Митяй поспешно облекся в ризу и с крестом в руке вышел вслед за другими.

Странный человек был Митяй. Несмотря на то, что он состоял только священником небольшой церкви села Коломенского, т. е. скромным сельским пастырем, змейка честолюбия свила себе прочное гнездо и в его сердце. Часто он мечтал о почестях, о власти и, сознавая, что едва ли ему возможно этого добиться, негодовал на судьбу. Что-то горделивое было в его красивом лице. Быть может, основой его гордости было то, что он действительно выделялся по уму, по образованию из ряда других служителей алтаря того времени, в большинстве едва грамотных.

Он знал кое-что по-гречески, имел возможность читать поучения святых отцов и, обладая прекрасною памятью, некоторые знал наизусть, как, например, сочинение святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии.

Кроме того, он был красноречив и на его проповеди народ

стекался толпами.

Такие качества, выделяя о. Михаила, заставляли его чувствовать себя выше других, а тщеславие подсказывало, что он мог бы быть не простым попом.

Он жаждал случая выделиться, отличиться чем-нибудь.

Иван Васильевич не ошибся: подъезжал великий князь Дмитрий Иоаннович. Он ехал верхом на белом коне, покрытом богатым чепраком. За ним следовали также верхами несколько приближенных бояр.

Когда Дмитрий Иоаннович остановил коня, Иван Васильевич подбежал и поддержал князево стремя.

– Тоскуешь, чай? – сказал великий князь, легко спрыгнув с седла. – Что поделать! Божья воля. Жаль его очень – хороший был старичок. Ну, води меня в кельйку.

В сенях перед кельей его встретило монастырское духовенство и Митяй.

Пользуясь преимуществом духовника покойного, отец Михаил никому не хотел уступить чести поднести великому князю крест для целования и окропить его святою водой.

Несмотря ни на что, он настоял на своем, и едва показался Дмитрий Иоаннович, сопровождаемый Вельяминовым и боярами, он выступил вперед и осенил крестом князя.

Великий князь благоговейно приложился к кресту, потом с любопытством взглянул на Митяя: он был очень богомолен и знал всех духовных лиц Чудова монастыря, но лицо отца Михаила было ему незнакомо.

– Ты что, батюшка, верно, недавно еще в сей обители? – спросил он.

– Я не отселе, великий княже. Я из села Коломенского... Духовник я покойного... – с низким поклоном промолвил Митяй.

– Так... То-то мне и лик твой незнаком, – сказал Дмитрий Иоаннович и еще раз окинул взглядом отца Михаила.

Ему понравился этот высокий священник с его красивым, умным лицом, с его медлительною, тихою речью.

– Пойдем помолимся об опочившем, – сказал князь.

Все прошли в келью.

Прозвучали скорбные слова панихиды.

Потом гроб подняли и понесли в собор. В числе несших был сам Дмитрий Иоаннович.

На заупокойную обедню и отпевание в храм прибыл сам владыка – святой Алексей митрополит. Он был уже очень стар – ему шел девятый десяток, – но, хотя стан его сильно качнулся вперед, хотя руки старчески дрожали, однако глаза были ясны, как у юноши, и светились кротостью и умом.

Торжественно раздавались по храму слова молений.

Усердно молился коленопреклоненный великий князь. Усердно молился и Иван Васильевич. Но его молитве мешали суетные думы.

Он жаждал скорейшего окончания богослужения, чтобы, когда прах отца будет скрыт земным покровом, услышать из уст княжеских утверждение в высоком звании тысяцкого.

«Превыше всех бояр стану!» – бродила в голове Вельяминова тщеславная мысль.

Закончилась литургия; и последовало короткое отпевание; простились с тем, кто недавно еще был московским тысяцким.

Глухо ударили молотки, заколачивавшие гроб.

«Земля еси и в землю отыдеши»...

Молчание царило в храме...

Святой Алексей, муж ученейший, в совершенстве знавший греческий язык и знакомый с латынью, смотрел сосредоточенно спокойно на гроб и думал классической фразой, полной глубокого смысла и так хорошо сознаваемой и передаваемой русским народом: «*Nodie tibi, cras mihi*».

И быть может, у каждого молящегося в мозгу шевелилась та же мысль, только, конечно, выражалась она не на мертвом языке, а на живом: «Сегодня тебе, завтра мне».

И у всех, даже у врагов покойного (и он имел врагов; кто не имеет их!) тихую грустью щемило сердце.

Иван Васильевич плакал, как женщина. В этот – и быть может, только в этот миг – оставили его честолюбивые помыслы.

Он страдал, невыносимо страдал душевно.

Он глубоко верил, что отец его будет блаженствовать в обители вышних, что оплакивать судьбу почившего нечего – он счастлив, – но ему-то, Ивану, человеку из плоти и костей, была невыносима разлука.

Он готов был разбить себе голову о дубовую крышку гроба-колоды.

В минуту его величайшей скорби к нему приблизился Дмитрий Иоаннович и положил руку на его плечо.

– Ты не изводись, – сказал великий князь, – всем нам то же будет... Тело что? – тлен, прах... А душа у него была чиста. Господь возлюбил его... Он в обителях райских за нас, грешных, теперь молится... Ты не сокрушайся – там свидеться... А пока ты жив, я тебя не забуду. Я дам тебе вотчину богатую, в бояре возведу... Ладно ль? Вестимо, тысяцким ты не будешь, потому зачем, правду-то сказать, тысяцкие? Но всем ты от меня взыскан будешь... Не убивайся, молодец!

И князь, ласково потрепав его по плечу, отошел.

Иван Васильевич и точно перестал сокрушаться. Грусть как рукой сняло. Слова князя вернули его к земле и кольнули, как ножом, в сердце.

«Вестимо, ты не будешь тысяцким»... Это был приговор, страшный приговор для юного Вельяминова.

Все его существо было потрясено.

«Отец в обителях райских... Ему, конечно, хорошо. А я живу... Почему я не могу быть тысяцким, ежели он был? „Зачем тысяцкие?“ Зачем?! Да мне это надобно. Мне!»

В своем волнении он не слышал, как заколотили последний гвоздь в крышку гроба.

Но зато хорошо слышал Митяй. Он, испросив благословения у владыки, предстал на амвоне печальный и безмолв-

ный.

Все глаза обратились к нему.

Он выжидал. И только когда прозвучал последний удар молотка, он заговорил...

Речь его лилась как ручей с отлогого холма: не быстро, но неудержимо. Он хотел сказать ее для князя, но когда начал говорить, то в душе его поднялось и закипело все лучшее, что в ней таилось. И он стал говорить поистине вдохновенно.

Он говорил – и был искренен в это время, – что человек не должен прилепляться к земному, что настоящая отчизна людская не здесь, на темной земле, а там – за пределами, недоступными оку человеческому. И не только оку, но и уму. Разве поймет даже и великий ум человеческий райские блаженства, которые заключены в созерцании Божества? Разве это достижимо? Только светлыми душами может быть понято это блаженство. А много ли их, светлых душ? Убивающий плоть пустынник стремится не к убийству своего тела (это делают и самоубийцы), а к возвышению духа над телом. Но подвижник, питая душу, хранит и тело свое. Потому что и оно не только «очаг страстей», но и подобие Божие. Он, святой, не станет уродовать себя – он не выколлет себе глаз, он не лишит себя слуха – потому что Господь сотворил человека не бестелесным, но телесным, и каждый посягающий на жизнь тела посягает и на определение Божие... Почему отшельники и святые люди долго живут? Восемьдесят, сто лет – заурядный возраст для подвижников. Ответ ясен: по-

тому, что они приближают свою плоть к первоначальной чистоте, к той чистоте, в которой явился первобытный человек, к чистоте Адама до его грехопадения. Святые не убивают, но восстанавливают плоть такую, какою она должна быть, если исключить все то, что мешает ее естественному развитию, т. е. всякие излишества, роскошь, лень и т. п.

Долго говорил отец Михаил, и каждое слово его находило отклик в сердцах молящихся.

Многие плакали, на глазах Дмитрия Иоанновича блестели слезы.

Всем было и грустно и сладко, потому что в эти мгновения в душе мелькнул Божественный свет. Дух жаждал очищения, стремился на свою небесную родину.

Один только человек составлял исключение среди молящихся.

Это был Иван Васильевич.

Он стоял бледный как смерть, с воспаленными сухими глазами. Едва ли он слышал речь Митяя. Для его души не мелькнул проблеск Божественного света: в ней были злоба и мрак. Он чувствовал себя обиженным, оскорбленным.

Когда настала пора нести гроб к месту вечного упокоения, Вельяминов шатался как хмельной.

Это приписали его горести по умершему отцу. Его жалели:

– Эх, убивается, бедный!

– Изводится. Да ведь и то сказать – отца родного хоронит.

На могиле великий князь вновь пожалел его, вновь подтвердил свое обещание «не забыть его», но снова заметил и о том, что чин тысяцкого он решил уничтожить, как совершенно излишний.

Слова князя слышали окружающие бояре, и отношение их к молодому Вельяминову разом переменилось. Куда делась их медовые речи! Их заменило ледяное молчание да насмешливые улыбки.

Кое-кто перешептывался, кивая в сторону Ивана Васильевича.

Все это заметил Вельяминов, и злоба с удесятеренной силой закипела в сердце.

«Добьюсь своего! – думал он, стиснув зубы. – Дойму не мытьем, так катаньем... А не станет по-моему, так отплачу же я князю-ворогу».

А Дмитрий Иоаннович между тем, не предчувствуя, что рядом с ним стоит заклятый враг, спокойно беседовал с владыкой и, когда могила была засыпана, сделал знак Митяю подойти.

– Красно говоришь ты, батюшка, – сказал ему великий князь, – почаше слушать тебя хотелось бы... Как тебя звать, отец?..

– Михаилом, государь-княже...

– Умилительно говоришь... Тебе не в селе Коломенском сидеть... Мы сие устроим...

И ласково кивнув ему головой, Дмитрий Иоаннович при-

нял благословение от святого Алексия и удалился с погоста.

Дольше всех оставался у могилы Иван Васильевич; он упросил распорядиться поминками, которые были устроены в его доме у Покрова, одного из своих приятелей, а сам остался у могильного холма и, когда все ушли, кинулся лицом в землю и зарыдал озлобленно, отчаянно.

– Батюшка! Слышишь ли меня? – взывал он. – Меня обидели, отнимают твоё наследье.

Но безмолвна была могила. Только ропот берез, шелестевших пожелтевшей листвою, смешивался с причитаниями юноши.

III. Святой владыка

В ту эпоху, к которой относится наш рассказ, жил в Москве человек, имя которого с глубоким уважением проносились всеми – от великого князя до последнего смерда.

Человек этот был святой митрополит Алексей.

Полна подвигами и глубоко поучительна жизнь этого святителя.

Святой Алексей, в миру – Елевферий, родился в Москве в 1300 году. Родом он был из черниговских бояр. Родители его Феодор Бяконт и Мария, переселились в Москву из Чернигова, желая найти более спокойную местность для житья, так как Чернигов того времени подвергался частым татарским набегам. В Москве княжил тогда сын св. князя Александра Невского, Даниил Александрович.

С этих пор Елевферий совершенно изменился. Он стал уклоняться от всяких забав, полюбил уединение и безмолвие, проводил время в чтении душеполезных книг, в посте и молитве. Родители, заметив в нем такую перемену, отнесли ее к пошатнувшемуся здоровью сына и не раз при нем высказывали сожаление и грустили. Он их утешал:

– Не печальтесь, а скорее радуйтесь... Как Господу угодно устроить со мною, так и да будет.

На пятнадцатом году жизни он принял решение оставить родителей и посвятить себя иноческой жизни. Решение еще

более окрепло к двадцати летам: в эту пору жизни он удалился в московский Богоявленский монастырь, где и принял пострижение от брата преп. Сергия, игумена Стефана, причем был наречен тем именем, каким был назван некогда в сонном видении.

Через Стефана, между прочим, он познакомился и вскоре подружился с преподобным Сергием Радонежским.

В монастыре святой Алексей повел самую суровую жизнь: непрерывная молитва, строгое воздержание выделяли его из числа других монахов; он всех приводил в изумление своими подвигами благочестия. Святой Алексей оставался в обители до 40 лет, когда митрополит Феогност взял его к себе для управления церковными судами на митрополичьем дворе. В этой должности, именуясь наместником митрополичьим, он пробыл 12 лет. При митрополите жило много греков, от которых св. Алексей выучился греческому языку и затем занялся сличением славянского перевода Нового Завета с греческим подлинником и исправлением текста славянского по греческому; перевод этот отличается буквальною близостью к греческому тексту.

«Сей подвиг, – говорит митрополит Московский Филарет, – важен, между прочим, потому, что через него святитель, Богом просвещаемый, предварительно обличил неправое мнение людей, явившихся после него, которые даже доныне утверждают, будто в священных и церковных книгах и описку переписчика исправить, и непонятное слово перево-

да заменить понятным – непозволительно и противно православию; он поверял и исправлял; а потому, очевидно, не так рассуждал, как новые ревнители не очень старой старины, а точно так же, как и древле и ныне рассуждает православная церковь»³.

Митрополит Феогност, а также и великий князь Московский Симеон Иоаннович очень полюбили святого Алексия за чистоту его жизни и кротость характера. С согласия великого князя митрополит поставил святителя епископом г. Владимира, а когда владыка и Симеон Иоаннович пали жертвою моровой язвы, наследовавший престол брат умершего князя Иоанн Иоаннович собором избрал св. Алексия на митрополию.

В это время святителю впервые пришлось претерпеть от человеческого тщеславия и мирской суеты.

По требованию Константинопольского патриарха св. Алексей должен был явиться в Константинополь, что владыка и исполнил. Патриарх благословил его на митрополию,

³ Высокопреосвященный Филарет, митрополит Московский, в слове в день обретения мощей святого Алексия. Слова и речи митрополита Московского и Коломенского. Том IV, 1836–1848 гг., с. 48. В 1892 г. по поводу пятисотлетия памяти преп. Сергия – друга св. Алексия – покойным митрополитом Московским Леонтием было предпринято издание всей рукописи святителя посредством фототипии. В конце предисловия издатель, обращаясь к преп. Сергию, говорит: «Не нахожу ничего благопристойнее для почтения твоей исторической памяти, как возложить на твою гробницу этот Новый Завет, переведенный и переписанный собственною рукою великого всероссийского митрополита и святителя Алексия, твоего наставника и друга».

но каково же было изумление святителя, когда он, вернувшись в Россию, нашел себе совместника в лице Романа: под давлением юго-западных князей Константинопольский собор поставил Романа митрополитом для запада России. Церковь Русская была очень смущена этим разделением и желала иметь своим первосвятителем одного Алексия.

Роман между тем рассылал по епархиям своих посланных с требованием дани и изъявлял притязания на Киев и Тверь; ни там, ни тут он не был принят.

В церкви русской поднялась великая смута.

Чтобы положить ей конец, св. Алексей решился вновь предпринять путешествие в Константинополь, куда прибыл и Роман. Патриарх Каллист подтвердил Роману, чтобы он был митрополитом только Литвы и Волыни, а Киев и Великую Россию предоставил управлению св. Алексия.

На возвратном пути из Византии владыке пришлось претерпеть жестокую бурю на Черном море. Волны яростно кидали утлое и полуразбитое судно. Ужас овладел всеми. Один св. Алексей остался спокоен, уповая на милость Божию. Среди криков отчаяния, среди царившего смятения он жарко молился и дал обет построить храм во имя того, кого православною церковью назначено праздновать в день, когда корабль пристанет к твердой земле.

Крепка была его вера, жарка молитва, и свершилось чудо: буря притихла.

Корабль благополучно достиг северного побережья; вла-

дыка сошел на землю: это случилось 16 августа – в день, посвященный православною церковью празднованию Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа; стечение обстоятельств тем замечательнее, что и самый Нерукотворный Образ св. Алексий имел при себе на корабле.

Согласно обету, святитель, дивясь милости Божией, явленной ему, создал не только храм, но целый монастырь во имя Спаса. Этот монастырь находится в четырех верстах от Кремля и именуется Спасо-Андрониевым.

Приняв бразды первосвятительского правления, владыка издал поучение к пасомым им православным христианам. Оно поражает своею простотою, теплою любовью и заботливостью о духовном преуспейнии чад церкви. «Напоминаю вам, – пишет он, например, – слово Спасителя, сказанное Им к Своим ученикам и апостолам: „Сие заповедаю вам, да любите друг друга... О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою“. Так и вы, дети, имейте между собою мир и любовь...

Также имейте, дети, в сердцах своих страх Божий, ибо при нем человек может стяжать всякую добродетель. Сказано: „Начало премудрости – страх Господень“. И Григорий Богослов пишет: „Где страх Божий, там очищение плоти и соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей, там возвышение души в горний Иерусалим“».

Святой Алексий, не переставая учить свою паству, сам подавал пример праведной жизни. Слава о его святости достиг-

ла даже до неверных. Жена хана Джанибека Тайдула долгое время страдала разными болезнями и слепотою. Хан, сведав, что по молитве святого Алексия творятся чудеса, послал грамоту великому князю Московскому с просьбою прислать к нему святителя, угрожая, в случае неприезда его для молитвы об исцелении Тайдулы, войною и разорением. По усиленным просьбам великого князя и ради спасения Руси от татарского нашествия владыка решился поехать в орду. Когда, перед отправлением в путь, он молился в церкви Успения Божией Матери, у гроба св. Петра митрополита сама собою загорелась свеча на глазах у всех. Это было ему предзнаменованием, что путь его благословляет Бог. Св. Алексей слепил из воска чудесно загоревшейся свечи маленькую свечку и, твердо уповая на милость Божию, поехал к хану.

Еще до его прибытия в Орду Тайдула видела во сне святителя Алексия в полном облачении, окруженного священниками. По пробуждении она приказала сделать архиерейское облачение по тому покрою, какой видела во сне.

Хан встретил святителя с великою честью и сам ввел его в палату. Святой муж, служа молебен, возжег свечу, слепленную из воска той, на которой явилось знаменье, молился долго и жарко, потом окропил Тайдулу святою водой.

Каково было изумление, радость и благоговейный ужас всех окружающих, когда Тайдула вдруг с сияющим лицом воскликнула:

– Я вижу, вижу!

В благодарность и в память своего чудесного исцеления она подарила святителю перстень, хан осыпал его дарами и отпустил с честью и миром в Россию. Кроме того, Тайдулю была дарована святителю обширная земля в Московском Кремле; здесь был впоследствии св. Алексием построен монастырь в память чуда Архангела Михаила в Колоссах; обитель эта более известна под названием Чудовской.

Едва владыка успел вернуться в Москву, как ему снова пришлось ехать в Орду по совершенно другому поводу.

Хан Джанибек, муж Тайдулы, был убит своим сыном Бердибеком. Захватив власть в свои руки, новый хан перебил всех своих братьев и изъявил намерение напасть на Россию.

Казалось, предстояло новое нашествие Батыя.

Разрозненная Русь того времени не могла бороться с несметными полчищами.

Все трепетали от ужаса. Уже мерещились спаленные и разграбленные города и деревни, тысячи окровавленных трупов, над которыми со зловещим карканьем носились стаи воронов и ворон, плачущие дети, лишившиеся родителей, жены и дочери, влекомые в полон на потеху хищным дикарям...

Конец Руси!

Великий князь Иоанн Иоаннович, занимавший в это грозное время престол московский, печалась о судьбе своей державы, обратился за помощью к тому, кто равно был почитаем и русскими, и татарами. Он слезно молил владыку поехать в

Орду и смягчить сердце кровожадного хана.

— Для нас, простых людей, непосильно это, а для тебя, святого, все возможно, — говорил князь.

Митрополит отверг наименование святого, но на просьбу князя согласился, желая, хотя бы под опасением мученической кончины, отвратить бедствие от пасомых им чад церкви Христовой.

Он отправился в Орду.

Не выдержало жестокое сердце Бердибека, когда его коснулись полные скорби, всепрощающей любви и милосердия слова святого.

Хан, который проливал кровь как воду, не тронул и волосы святителя и отпустил Алексея в Москву с вестью о мире и, кроме того, подтвердил, что русское духовенство свободно от всяких даней и налогов.

Всем сердцем любил святитель свое отечество и служил ему, не жалея себя. Всюду и везде сказывалось его благотворное влияние: то он советует и дает средства юному великому князю Дмитрию Иоанновичу обвести Москву каменными стенами, то старается примирить враждующих князей, то едет в Киев, то в Нижний Новгород; наконец, строит храмы, воздвигает монастыри.

Таков был он — светильник веры, ярко горевший на Руси.

Время брало свое. Наступили преклонные годы, и святой владыка заметно слабел.

И у князя и у многих зарождался тревожный вопрос:

– Кто может стать преемником святителю?

И казалось, осиротеет земля Русская, когда святой Алексий отойдет в обитель вечного упокоения.

Все видели свою надежду и опору в святителе, все спешили к нему за помощью и советом.

Не был исключением из числа других и Иван Вельяминов.

К кому прибегнуть с просьбой о заступничестве перед великим князем? Кого просить, чтобы походатайствовал перед Дмитрием Иоанновичем об отмене неприятного для него, Ивана, решения?

Конечно, можно было обратиться с такими просьбами только к нему, ко всеобщему печальнику, митрополиту Алексию.

Вельяминов так и сделал. На другой день после погребения отца Иван явился в митрополичьи палаты.

Владыке недужилось, но он все-таки принял его.

– Что тебе, чадо? – спросил святитель, благословив юношу.

– Владыка! Горе у меня великое... – начал Вельяминов, стоя на коленях.

– Знаю, чадо, знаю, – промолвил Алексий, полагая, что Иван разумеет смерть отца, – но что ж делать? Божья воля. Одного ныне отзовет Господь к Себе, другого – после. Все мы гости в сем мире.

– Да, – сказал юноша, – конечно, сие горе велико... Да... Но у меня есть еще и другое великое... Ты слыхал, святой

владыка, что тысяцких больше не будет?

– Говорил мне государь-князь...

– Заступись за меня, владыка... Заступись. Почто же князь меня наследия моего лишает? Али я чем провинился? Всегда был ему верный слуга.

– Князь к тебе милостив, он тебе вотчину хочет дать. А чин тысяцкого не по нем. Что ж я могу, чадо? Мое дело Бога молить, а не в князьи дела мешаться. А скорбеть тебе, сдается, и не о чем. Кабы князю ты был не люб...

– Не люб! – воскликнул Вельяминов, вспыхнув и вскочив на ноги. – Не люб и есть! Испокон века тысяцкие были... И отец мой, и дед, и прадед в тысяцких сидели. Что же я за несчастный? Вотчину даст... Да не надо мне ее. Хочу тысяцким быть.

– Нет, я тебе не заступник, – с некоторою строгостью промолвил святой владыка, – абы нужда была большая, абы точно обижен был, тогда бы я заступился... А у тебя суетность. Тебе хочется власть над людьми иметь, превыше других стать...

Святитель взглянул на бледное, со следами слез лицо Ивана, и его доброму сердцу стало жаль юноши.

– Ты не крушись, – заговорил он мягко, – я не в осуждение, а в назидание... Гони мысли суетные, Богу молись, служи князю-государю верой-правдой, и он тебя не забудет. А коли что, тогда и я тебе пособлю. Иди с миром, чадо.

Странную противоположность один другому представля-

ли эти два человека. Один из них, старец, смотрел ясным, глубоким взглядом; тихую ласкою веяло от его величественного лица, обрамленного белоснежною бородою; сказывалась какая-то мощь духа в этом слабом, согбенном теле.

Второй – юноша, стройный как тополь, могучий как богатырь – стоял понурый, со злобно блестящими глазами и искаженными чертами лица; брови сдвинулись, словно кому-то грозя, около глаз залегли темные полосы. В этот миг он казался олицетворением злобы.

Не отзывались слова святого старца в душе Ивана: дух зла овладел им и ожесточил сердце. Он ушел от владыки еще более озлобленным, еще более отчаявшимся.

Когда он шел по улице, прохожие с удивлением и боязною сторонились от него: таким волчьим взглядом окидывал он их. В нем едва признавали юного Вельяминова, которого привыкли видеть с открытым приветливым лицом и ясным взглядом.

Он словно постарел на десяток лет.

– И владыка не заступился! Кто же заступится? Ужели так-таки ничего и не поделать? Нет же, нет! Не буду тысяцким, буду еще большим. А князю-государю отплачу... Погоди, дай срок!

И злобные мысли вихрем теснились в голове.

Он вернулся в свой дом – обширный и крепкий – и затворился в одрине⁴.

⁴ Одрина – спальня.

Он не вышел к обеду, не сел за ужин.

Слуги перешептывались и дивились, прислушиваясь к его шагам — ровным, непрерывным.

— Чай, все по отце скорбит.

— Не ест, не пьет — уж это бог знает что.

— За сердце взяло.

Оно и точно — крепко «за сердце взяло» Ивана. Он не знал, что делать с собой, как затушить пламень, жегший душу.

Он пробовал молиться — молитва не ладилась. Он решал пересилить думы и не мог.

Несколько раз шевелилась отчаянная мысль: «Лучше не жить бы».

Но все существо восставало против бездны смерти.

Жить, жить! Но так, как ему хочется.

Но как устроить? Где искать помощи?

И откуда-то из неведомых тайников души словно прозвучало:

— У меня!

И в соображении его пронеслось грозное, черное лицо Сатаны.

Он вздрогнул, оперся на тяжелый дубовый поставец и бесильно, чуть слышно прошептал:

— У тебя?

Ужас объял его.

Но злоба была сильнее ужаса.

– А что ж бы... хоть и у тебя... – промолвил он побледневшими губами. – Хоть бы и у тебя! Ты-то дашь ли мне, чего желаю?

Где-то откликнулось в душе:

– Дам.

Твердую решимостью наполнилось сердце Ивана.

– Так пусть же! Пусть хоть Сатана мне поможет!

И он снова зашагал по своей одрине, грозный, нахмуренный, со сжатыми в кулаки руками.

Мысли теснились в его мозгу и давили его.

Черные, страшные думы. Он мысленно отдавал свою душу дьяволу, он мысленно прибегал к чарам.

И воображение рисовало ему будущее его могущество.

Он видел себя богатым властелином.

Он водил полчища, лилась кровь его врагов.

Он видел Москву спаленную и князя Дмитрия Иоанновича, лежащего в прахе у копыт его коня.

– Так тебе, так тебе! Так больше тысяцких не надобно, княже?

И злобно хохочет он и вот-вот готов раздавить великого князя конской пятой.

– Разве за все это не стоит душу продать? – размышляет он.

И сам себе отвечает:

– Это ли души не стоит? Если бессильны руки сотворить, если на силу есть сила большая, помогут чары. Для волшеб-

ства и колдовства все можно. Не спасут врага ни его ратные люди, ни крепкие стены. Чара, как пыль, сквозь щель пройдет, как вода, через чуть приметную скважину проберется. Сказал – не мытьем, так катаньем. Дойму...

И работают думы, и то застывает, то трепетно бьется сердце его.

Время идет. Стало темнеть.

Кое-кто из слуг, не дождавшись выхода своего господина, стал приваливаться на покой.

Затих дом.

Вдруг среди тишины громко прозвучал и поднял всех на ноги господский приказ:

– Оседлать коня!

Через несколько минут оседланный конь фыркал у крыльца, а еще немного спустя вышел туда же Иван Васильевич.

Он был в одном кафтане, без охабня; у пояса покачивался тяжелый меч и сабля в бархатных ножнах, за плечами – лук и колчан.

Он изготовился, как к бою.

Нахлобучив плотней шапку, Иван вскочил на седло, склонился вперед, гикнул и вихрем вынесся за ворота и скрылся от глаз удивленной челяди во мраке осенней ночи.

IV. Некомат Суровчанин

Не то дорога, не то просека пролегла через лесные дебри. Луна чуть проглянет и вновь спрячется за покровом облаков, которые медленно и неустанно ползут по небу, серея, как столбы дыма.

Немало надо храбрости, чтобы ехать одному в глухую полночь по лесной чаще.

В ней много волков, но что еще страшней – много лютых людей. Зверь помилует, побоится тронуть, а человека не возьмешь страхом или мольбой. Не тронутся слезами окаменелые сердца, а бердыш с размаху разmozжит голову.

Вероятно, это хорошо знал путник, пробиравшийся по просеке на бойком аргаме. Он держал наготове копье, жало которого серебром светилось при проблеске месяца.

На мгновенье луна вырвалась из-за облаков и озарила ехавшего.

Он молод. Ему лет тридцать, не больше.

Плечи широки, стан крепок. Для злых людей он не легкая добыча: сможет постоять за себя.

Лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.

Брови сдвинулись, а глаза вспыхивают недобрым огоньком.

Если бы встретился москвич, то без труда признал бы в

ночном путнике богатого купца прозвищем Некомат Суровчанин.

Тот же встречный, конечно, подивился бы:

— Что ему здесь надобно?

Удивление москвича было бы тем более понятно, если мы поясним, что путь-просека вел ни более ни менее как только к мельнице некоего Хапилы, пользовавшегося недоброй славой колдуна.

Чтобы объяснить читателю смысл путешествия Некомата, мы должны оставить его продолжать путь к колдовской мельнице, а сами вынуждены взглянуть на жизнь купца Суровчанина вообще и главным образом на те события, которые разыгрались в доме Некомата всего несколько дней тому назад.

Итак, забудем на время про его поездку и перенесемся в усадьбу, окруженную добрым тыном, за которым, куда глаз ни глянь, раскидывались поля и луга, окаймленные вдали темной полосой леса...

...Ясное осеннее утро.

Некомат стоит у окна и смотрит на окрестности.

Поля со щетиною сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.

Вились думы: «Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор... Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню что накашиваем! А хлеба собираем, а овса... Уйма! Да еще

старания, какого нужно, не приложено. А постараться – приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь – огребай добро лопатами! Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет мало времени – помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать... Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек... Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Сполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и володеть. А все толковала, бывало, „муженек любимый“. Вот те и любимый».

Угрюмое лицо Суровчанина покрылось пятнами от желчного волнения. В тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно бороду дернул и отошел от окна.

– Грехи одни! – пробормотал он, прохаживаясь. – Кабы отделаться от этого парнишки. А-ах кабы!

Тихо стукнули в дверь светлицы.

– Кто там? – спросил Некомат.

В дверь выставилась кудлатая седая голова.

– Что тебе, Пахомыч?

В комнату бочком пролез приземистый старик с обезьяньим лицом, испещренным морщинами, и юркими лукавыми глазами, полуприкрытыми клоками седых бровей.

– Я к твоей милости, – проговорил Пахомыч.

– А что?

– Силушки нет сладить с пасынком твоим. Помилуй, совсем заморил он Чалого.

– Этакого коня?!

– Пропала лошадь. Вхожу сейчас в конюшню, гляжу – сена не ест и сама дрожит. На ней теперь разве впору воду возить, да и то годится ль!

– Любимый мой жеребчик. Растил его, холил красавца, вскормил – и вот! И как Андрюшке помогло такого коня зарезать?

– Вчерась оседлать приказал и поехал. Знамо дело, от безделья скука берет. Сам знаешь, какая вчерашний день погода была – дождик, буря, не приведи бог. А ему, вишь, дома не сидится. С утра до вечера это он по полям шаркал. Конь не поен, не кормлен, ну и заморил. Как он вернулся, я так и ахнул: мыло с коня так клочьями и сыпется что снег. Тогда же подумал я: ой зарезал коня.

Суровчанин присел на лавке, тяжело дышал и покачивал головой.

– Вот тебе и Чалый. А конек-то был!

– Уходил, уходил его, что и толковать. Сегодня я ему говорю: Андрей Алексеич! Зарезал ведь ты коня. А он меня же винит: ты, говорит, что смотрел? Верно, грит, опоили его. И знаешь, господине, уж ты меня прости, не в гнев твоей милости будь сказано, а сдается мне, что он тебе назло извел коня: знает – твой любимый.

– Может быть, и очень может быть. От него уваженья не дожидаться, а этакое чего-нибудь, чтобы назло, сколько хошь. Уж паренек! Вот он где у меня!

Некомат указал на свою шею.

– Испытанье, тебе Господом посланное, – сказал Пахомыч, сочувственно вздохнув, и продолжал: – потому думаю, что он назло тебе сделал, потому... Ведь ни ты, ни я, ни другой кто не поедет по доброй воле в этакую непогоду, как вчерась. А его понесло. И зачем? Даром коня гонять. Один-одинешенек поехал и воров-душегубов не побоялся... А ноне у нас их страсть развелось: намедни Трифоновского ключника среди бела дня зарезали, только малость от дома отошел. Дивно, как Андрей Алексеича не полоснули.

– Кабы полоснули! – пробурчал Суровчанин так, что ключник мог и не слышать.

Но он слышал. Весь как-то дернулся, подался вперед и тихонько промолвил:

– Управились бы с ним воры – благодать бы была.

– Н-ну, – промычал Некомат, смущенно глянув в сторону.

– Нет, в сам деле, – зашептал старик, еще ближе пододвинувшись к нему. – Оно, конечно, грех желать такое. Но от слова ничего ему не сделается. А только как не сказать, что легче стало бы без него.

Суровчанин не останавливал холопа и нервно щипал бороду.

– То взять, – продолжал шептать ключник, – что вот те-

перь ты всем владеешь, а малость времени пройдет – приберет все к своим рукам Андрей Алексеич. Мы, рабы, попадем в его лапы, а тебя – ты не осерчай на меня – может, из дома погонит.

– От него дождешься.

– Чего от него не дожидаться? Всего ждать можно. Меня он со свету сживет, уж это как пить дать. Он меня страсть не любит. Беда всем будет...

Старик замолчал. Юркие глаза его так и бегали.

– Тяжело, – со вздохом промолвил Некомат.

– Легко ли!

– А поделать ничего нельзя.

Пахомыч наклонился к самому уху купца и прошептал:

– Кабы греха не бояться, то можно бы...

– Отыди, сатана! – вскричал Суровчанин, покраснев.

Поднялся с лавки и зашагал по комнате.

Старик отскочил к двери и забормотал с покорным видом:

– Ведь я не говорю, чтобы непременно. Я сказал, коли не бояться греха. А мы, вестимо, хрестьяне православные, мы греха боимся. Я так, к слову, тоись... А ты меня сейчас уж и сатаной.

Некомат ходил, опустив голову. Лицо его словно потемнело. В глазах выражались тревога и злоба.

Вдруг он круто остановился перед Пахомычем и спросил:

– Ну а... ну а как было бы можно?

Ключник встрепенулся.

– Как? Придумать недолго. Кликни – руки найдутся... На воров-душегубов свалим, – прошептал он.

– Где найдешь? – напряженно шептал купец. – Да после эти же руки, может, и к нашему горлу потянутся?

– Не посмеют потянуться. Устроим. У меня, сказать правду, на примете есть.

– Будто?

В это время в сенях слышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился юноша лет девятнадцати, высокий, голубоглазый, краснощекий. Его плечи еще не вполне развились, но, по-видимому, он обещал стать богатырем. На мощной шее сидела красивая голова в целом венке кудрявых белокурых волос.

Это был пасынок Суровчанина, владелец усадьбы и земель, Андрей Алексеевич Кореев.

Увидев его, Некомат угрюмо спросил:

– Что, Чалого-то загнал?

– Я загнал Чалого? Когда мне было его загнать? Конь, правда, теперь вконец испорчен, да только оттого, что его опоили, – ответил пасынок.

Пахомыч, успевший отдалиться от Некомата, с жаром возразил:

– Грех тебе, Андрей Лексеич, на людей напраслину взводить. Сам виноват, так зачем на других вину складывать? Выюнош ты еще молоденький и на этакое пускаешься. Непригоже.

Молодой человек пожал плечами и промолвил:

– Да когда я мог коня загнать?

– А вчерась.

– Много ли вчера я ездил?

– А от обеда да вплоть до вечера.

– Полно врать-то! – с негодованием воскликнул Кореев.

– Я что? Я человек маленький, – смиренно сказал ключник, злобно блестя глазами. – Одно слово – раб. Я все должен с покорством стерпеть. Говоришь, вру – ну, пусть вру. Пусть твоя правда, мне спорить нельзя. А только вспомни то, что я еще твоей матушке с батюшкой служил, когда тебя и на свете еще не было. У меня уж борода сивая, а у тебя еще ус не пробился... Грех старика обижать. А снести я все снесу. Все снесу, не привыкать стать. За жизнь-то свою чего не натерпелся... А только обидно...

И ворча, он вышел.

– Коня, конечно, жаль, – сказал вотчим по его уходе, – доморощенный конек... Потому я и говорю... Но ты волен делать, как знаешь. Не мое добро... И ежели я печалюсь, то потому, что о тебе пекусь...

Он примолк, потом продолжал, стараясь придать голосу задушевный тон:

– Я ведь тебя этаким знал (он указал на аршин от пола), можно сказать, ты на моих руках вырос. Люблю я тебя, как сына родного... Денно и ночью заботушка о тебе меня берет. Вот пройдет годик, сдам я тебе все хозяйство, тогда делай

как знаешь, слова не скажу... Сам будешь в возрасте... Ты будешь хозяйствовать, а я пойду угодникам молиться либо постриг приму... Уйду из усадьбы.

– Зачем уходить? Как жил, так и живи. Я только рад буду.

– Нет, брат. Двум медведям в одной берлоге не ужиться.

– Не стоит об этом толковать, батюшка: я тебя не пушу; ведь еще не скоро мне и хозяйство принимать: больше года еще осталось. Чего раньше думать да загадывать: мало ль что еще может случиться! День сегодня погожий, – добавил Андрей Алексеевич, глядя в окно, – взять лук да пойти зайцев пострелять: много их у нашего огорода шмыгает.

Он ушел.

Вотчим посмотрел на захлопнувшуюся за ним дверь, и благодушное выражение разом соскочило с его лица.

– Да, – пробормотал он, – еще срок есть. Мало ль что еще может случиться. А с Пахомычем надобно как след потолковать.

И он зашагал по комнате, полный черных, смутных дум.

Скажем теперь несколько слов в пояснение того, каким образом торговый человек Некомат очутился в роли опекуна (разумеется, называем его так современным нам языком) Андрея Алексеевича.

В то время не существовало еще крепостного права, не существовало также и права на владение землей только какому-нибудь одному сословию.

Сказанного достаточно, чтобы понять, что Суровчанин

хотя был купцом, или, как тогда называли, гостем, мог и мечтать о присвоении себе имени Кореева, и фактически владеть землей и людьми.

Лет десять тому назад Некомат был мелким торговым человеком; он торговал холстом и суровским товаром, отчего и получил прозвище Суровчанина. Он наезжал в имение матери Андрея Алексеевича – вдовы княжего боярина – за закупом холста. Красавец в то время собой, он приглянулся молодой еще вдове, и вскоре она вышла за него замуж, не раздумывая о том, что она – боярыня, а он – простой гость.

С женою Некомат прожил лет пять. Она скончалась от какой-то долгой и мучительной болезни.

– Что свеча растаяла, – говорили про нее.

Умирая, она позаботилась о сыне от первого брака: все имущество она завещала ему, а своего второго мужа оставила только пестуном:

– Пока Андрюша в возраст не придет.

Суровчанин, впрочем, мог также все наследовать:

– Ежели, чего Боже упаси, Андрюшенька помрет раньше.

Таким образом Некомат стал опекуном пасынка и фактическим, временным владельцем имения, но не собственником его.

В первые годы купец чувствовал себя очень довольным:

– Еще покуда малыш в возраст придет. Может, еще его Господь и приберет.

Но по мере того, как проходили годы, а мальчик превра-

щался в цветущего юношу, Некомат становился грустней и задумчивей: добро ускользало из рук. Недалек был день, когда предстояло расстаться с этакой благодатью. Правда, гость успел припрятать добрую толику про черный день, но ему этого казалось мало. Его торговля шла плохо и, в сущности, поддерживалась только деньгами, которые он извлекал из пользования помещьем опекаемого. Люди этого не знали, но он-то хорошо знал: не будет имения – придется и торговлю бросить.

А имение было – золотое дно. Лежало оно всего в какой-нибудь версте от Москвы; земля хорошая: пажити, леса – все есть, чего хочешь.

Опекун с ненавистью стал думать о своем пасынке. Андрей Алексеевич был в его глазах врагом его счастья.

«Кабы помер!» – часто проносилось в его голове, когда он смотрел на пасынка.

И все чаще и чаще стала вспадать дума о желательности смерти Андрея Алексеевича.

В одно из таких мгновений подвернулся Пахомыч со своими речами.

К чему привел разговор между ключником и купцом, читателям известно.

Чем руководился старый ключник, подбивая своего господина на преступление?

Конечно, только личной выгодой. Андрей Алексеевич не терпел бы его за злобу и пронырство, и, со вступлением Ко-

реева в свои права, ключник должен был лишиться своего первенствующего значения среди челядинцев; кроме того, если бы удалось «отделаться» преступным образом от Андрея Алексеевича, Пахомыч держал бы в своих руках Некомата и мог бы забрать власть над ним и над «людишками».

Подозревал ли сам юноша, какая опасность грозит ему?

К вотчиму у него никогда не лежало сердце. Он инстинктивно чувствовал затаенную вражду со стороны Некомата. Но молодой человек гнал такие думы, старался переломить себя, был с отчимом ласков и почтителен. О том же, какие планы зреют у Суровчанина и ключника, он ничего не подозревал.

Быть может, злые замыслы удались бы, если б случайно в них не проник один преданный юноше человек.

Это был старик Матвеич, прозванный Большеруком. В то время когда жила еще мать Андрея Алексеевича, Матвеич был ключником, но после ее кончины Некомат поставил на эту должность Пахомыча, а его вернул в положение заурядного раба. Произошло это потому, что Суровчанин видел, что Матвеич более тянет на сторону пасынка, а не на его. Таким образом, старик был большою помехой для опекуна.

Много пришлось претерпеть Большеруку, но он все покорно сносил.

Не многие знали, что причиною такой покорности была его глубокая привязанность к Андрею Алексеевичу.

Юноша, можно сказать, вырос на его руках; мать, уми-

рая, поручила мальчика заботам Матвеича, и старик не обманул ее доверия; он возился с ребенком не хуже любой няньки. Всегда смирный и молчаливый, он становился буйным и гневным, если видел, что чем-нибудь обижают его питомца; он всегда стоял за него горой перед всеми, не исключая и самого Некомата.

– Меня хошь приберей, хошь убей, а мальчика не трожь: не дам! – говаривал он Суровчанину или Пахомычу в минуту подобной вспышки. – Сироту-то всяк рад обидеть.

Душа ребенка отзывчива на теплую ласку и любовь; дети чутьем понимают, кто их искренно любит. Неудивительно поэтому, что Андрей Алексеевич в свою очередь полюбил Большерука как родного, и во всяком случае больше, чем отчима.

Этот-то истинный пестун юноши и проник в планы Суровчанина и Пахомыча.

Однажды в послеобеденную пору, когда весь дом был погружен в безмолвие, так как все обитатели от мала до велика, по русскому обычаю, прилегли после обеда, легкий стук в дверь горницы пробудил Андрея Алексеевича от легкой дремы.

Он нехотя спросил:

– Кто там?

– Я... Тише... Впусти-ко меня, – послышался из двери сдержанный голос Большерука.

Юноша, лениво поднявшись, откинул засов.

Матвейч тихонько вошел в комнату и снова запер двери. Он был бледен и имел расстроенный вид.

– Случилось что, Матвейч? – спросил Кореев, глядя на взволнованное лицо старика.

Большерук молча покрестился на икону, потом промолвил:

– Случилось такое, что не узнай я, быть бы великому греху. Благодарю Бога, что спас Он тебя.

Юноша смотрел на него с недоумением.

– Злодеи? – пробормотал Андрей Алексеевич, пожимая плечами.

– Да, лютые злодеи. И с тобою вместе живут, и твою хлеб-соль едят. Послушай-кась, что я тебе скажу... Сегодня, ты знаешь, работали мы в огороде. Овощ снимали. Стало близко к полудню. Приходит в это время сам Некомат-от. Поглядел этак на Пахомыча и говорит: гони их обедать. Тот сейчас и запищал: кончай работу, иди на обед...

Вестимо, холопишки радешенки. Живой рукой к дому. А я позамешкался с чего-то. Все ушли, а я еще спину гну. Работать мне довелось, надо тебе сказать, у самой загороди, в конце то ись. Знаешь там, где малинник поднялся. Кустарник высокий да густой. Меня за ним и не видать. И вот слышу я, братец ты мой, что за кустами ходят да говорят. Поприслушался. Твой вотчим да Пахомыч. Мне сперва было и ни к чему, а потом стал их слушать...

Ну, тут-то вот и услышал! Вотчим-то твой говорит, и в

голосе словно бы дрожь:

«Невтерпеж, – говорит, – пора нам с этим приканчивать. Извелся я весь. Надо разом конец».

«Да уж теперь будет твоя милость спокойна: нашел я кого след».

Это, значит, отвечает ключник. Мне каждое ихнее слово запомнилось. Умирать стану – не забуду.

«Ой ли! – грит вотчим-то. – Нашел?»

«Нашел, – тот грит, – доброго паренька. О Фильке Непутном слыхал?»

«Еще бы не слыхать. Всем ведомый душегуб».

«Вот он, – ключник говорит, – и трое приятелей его. И пограбят его, и убьют. Я им, с твоего дозволенья, награжденные обещал».

«Дам сколько захотят, только б прикончили Андрея».

Услыхал я это, да так и обмер. Присел за кустами – не шелохнись – и через веточки проглядываю.

Вотчим-то белый что снег, а Пахомыч – красный и все волосы ерошит.

«Когда ж они вершить будут?»

А Пахомыч грит:

«А с сегодня засядут выжидать. Как он в лесок выдет, нагонят и либо бердышом, либо копьем, либо стрелку пустят. И вся недолга. Потом ищи их, как ветра в поле. А наше дело сторона».

«Так. Нарочно завтра ж пошлю его зайцев стрелять. Ну,

Пахомыч, удастся мне его сбыть – озолочу тебя. Первым ты человеком у меня станешь. И Фильки не забуду. А только скажи ему, чтоб он не зевал: не терпится мне Андриюшку спровадить. Пусть они голову ему разрубят, в воде потопят аль в огне спалят, только бы убрали. А то руки чешутся самому за нож взяться либо зелья ему в кушанье подсыпать. Ждать не могу...»

И пошли это они себе помаленьку к дому.

Я пождал, когда они ушли, да пробрался домой, а теперь вот к тебе прибег. И мой сказ тебе: надобно от злодеев спастись. Изведут они тебя, как пить дать, изведут. Бога они не боятся, людей и подавно.

Андрей Алексеевич сидел бледный и удрученный.

Он несколько раз прерывал речь пестуна возгласами то недоверия, то гнева.

Когда старик закончил, он быстро поднялся и в волнении заходил по комнате.

– Знаешь, Матвеич, – сказал он, – и надо мне тебе верить, и не верится. Ну, можно ль, чтобы отчим... Да что же он за злодей такой?

– Злодей и есть. Какой же не злодей?

– Да на что ему смерть моя?

– На что? Да ведь, ежели ты помрешь, он всем владеть будет. Так и в духовной прописано. Сам слышал, как отец Василий читал твоей матушке, когда она Богу душу отдавала. Ежели ты помрешь – все вотчиму. Из-за этого он тебя и хо-

чет спровадить.

– Пойду-ка я к нему, – с гневом вскричал юноша, – и скажу, что мне все ведомо. Что он суший злодей, Бога позабывший, и чтоб он убирался бы поскорей из моего дома.

Большерук замахал руками.

– Тише!.. Не кричи, – промолвил он. – А о сем и думать нельзя. Он только и скажет одно: знать ничего не знаю, ведать не ведаю, мало ль, дескать, тебе наговорили! А тебя за продерзости он еще в подклеть запрет. И ничего ты не сделаешь, потому пока тебе двадцати годов нет, он здесь хозяин. А в подклети они тебя и заморят. Нет, пока что надобно тебе отсюдова уйти. Это уж, как люблю тебя, говорю.

– Покидать кров родимый? Из-за чего?

– Чтоб жизнь спасти. Пройдет мало времени, вернешься сюда хозяином и Некомата прогонишь. А пока послушайся – уезжай.

– Куда уехать? – грустно промолвил молодой человек.

– Ты вот что, не печалься, не убивайся, – сказал Большерук, и голос его задрожал, – всякому Господь испытанье посылает. И тебе тоже... Ты не бойся, а на Бога надейся. Я ж тебя не оставляю: какую могу, завсегда помощь окажу. Сам знаешь, люб ты мне, как сын родной. Поедем мы, родненький, отсель, времени не вадя. У тебя в Рязани дядя живет, отца твоего брат родной. Лет десяток, как он от Москвы к рязанскому князю отъехал... Вот мы к нему и будем путь держать.

– Из своего дома бежать. Матушка! Кабы встала ты из своего гроба... – как стон вырвалось у юноши.

Он тяжело опустился на лавку и сжал руками виски. Все существо его было полно горем и негодованием.

Хотелось бы кинуться к отчиму, назвать его злодеем и с позором выгнать его из дому.

Но он сознавал, что пестун прав, что этого сделать невозможно, что только ему же хуже будет.

Приходилось покоряться необходимости.

Приходилось покидать родной дом, могилу матери и ехать за тридевять земель, чтобы укрыться от козней.

Этого требовало благоразумие.

Это казалось единственным средством спасения.

Лицо матери, как живое, стало перед ним.

Доброе лицо с ласковым, кротким взглядом.

И рядом другое – угрюмое лицо отчима, с глазами, в которых застыло выражение подозрительности и затаенной злобы.

– Ты не убивайся, родненький, говорю, – бормотал между тем Матвеич. – Ну что ж, у дяденьки поживешь годик, а там вернешься. Дяденька родной, не обидит. А я все приготовлю – и коней, и запасец. Прихватим и верного человека... Знаешь Андрона, племяша моего? Помолимся Богу, да и в путь. Как стемнеет, я лошадок выведу за изгородь к огороду. Тихохонько сядем на коней – и след наш простыл.

Юноша поднял голову.

– Хорошо, – сказал он, – знать, Божья воля. Я согласен... Сегодня же ночью едем.

– Ну вот и ладно, и отлично. Я коников приготовлю и обо всем позабочусь, спокоен будь. А близко к полуночи выбе-
рись за огород. Понимаешь, я рад-радешенек: от гибели,
родной, спасешься. Нешто сладко под нож злодеев голову
подставлять. Даже сие и грех. Это вроде как на себя самому
руки наложить. Так едем сегодня! Я и Андрону скажу.

А теперь надобно наутек от тебя, пока все спят: заприме-
тят, так, пожалуй, еще догадаются. Прощай пока, соколик!
Все я изготовлю.

Старик ушел довольным, а юноша долго еще сидел в
грустном раздумье.

В этот день отчим был с ним особенно ласков.

Андрея Алексеевича эта ласковость резала, как ножом. В
особенности трудно было ему сдержаться, когда Некомат
сладеньким голосом сказал:

– Что ты сегодня хмуришься, родной? Скушно, чай? Ты
бы пошел по леску побродил али б зайчишек пострелял.

Юноша вспыхнул от негодования.

«Сам под бердыш злодея посылает, – подумал он, – не тер-
пится ему меня спровадить».

Он едва не выдал себя резким ответом, но успел овладеть
собой.

– Что-то недужится маленько. Я, чай, как-нибудь засту-
дился... Пойду полежать, – ответил он и ушел в свою горен-

ку, чтобы только не видать ненавистного теперь для него лица отчима.

Затих господский дом.

Сам Суровчанин утомился в своей опочивальне. Андрей Алексеевич приподнялся на постели и прислушался.

Тихо. В окно смотрит лунная ночь.

Встал, высек огня и затеплил огарок.

– Теперь скоро. И не хотелось бы, и сердце рвется, да ничего не поделаешь. Что сделаешь супротив злобы людской?

Он печально поник головою.

– Из своего дома приходится бежать... Божья воля.

Чуть скрипнула дверь.

Выставилась косматая голова Матвеича.

– Пора! – сказал пестун. – Напрасно свечку вздул: не заметили бы!

– Сейчас. Вот только образок возьму, да тут кой-что...

– Кони уж выведены.

– Иду.

Андрей Алексеевич закрестился:

– Господи, помози!

– Его святая воля. А где твой тулупчик? Ночь холодна, да и после пригодится. Мешкать негоже, иначе.

Юноша поспешно оделся и потушил огонь.

Тихо прошли сени, выбрались на двор.

У ворот гулко храпел сторож.

– Крепко Левка спит, – сказал Большерук, – я давеча мимо

него лошадей провел, и то не слышал.

Вступили в сад, он же и огород. Деревья недвижны, как колонны, сетью раскинулись ветви, не шелохнутся. По тропинке разбросались пятна лунного света.

– Ночь-то! А? – с восхищением промолвил старик.

– Хороша ночка, – ответил юноша и подумал: «Можно сказать, что всю жизнь переламываем, а говорим так, словно вот погуляем да и домой повернем».

За садом-огородом ждал Андрон, племянник Большерука, рослый, сильный парень из тех, про которых говорят: неладно скроен, да крепко шит.

Он сидел верхом на лошади, двух других держал за узду.

– Вот вы, а я было заждался – думал, не случилось ли чего, – промолвил Андрон.

Пришедшие молча вскочили на седла.

– Сейчас мы вперерез поля, – сказал Матвеич, – в лесок, а там окольным путем.

Тронулись ходкою рысью.

– Стой! – приказал юноша, когда въехали на невысокий пригорок близ леса. – Дай взглянуть в последний раз.

Он повернулся лицом к усадьбе.

– Прощай, кров родимый, – прошептал он с глубокою грустью. – Возвращусь ли, увижу ль тебя когда-нибудь?

Тихим, мирным пристанищем казалась озаренная месяцем усадьба с высоким господским домом – с разбросавшимися в беспорядке службами, крытыми побурелой соломой,

с темным пятном сада-огорода...

А там, за лесом, неведомый, чуждый, шумный мир...

Матвейч и Андрон были задумчивы.

Для них, холопов-рабов, усадьба была только обширной тюрьмой; мир нес свободу. О чем жалеть?

Но что-то похожее на тоску шевелилось в их сердце.

Тут их родина!

И что бы ни сулила, что бы ни дала чужая сторона, все нет-нет да перелетит тоскливая дума сюда, к этому полю, к этому лесу, к усадьбе, к селу, что вон блестит крестом колокольни; сюда, где мать слышала их первый крик, где мирно отдыхают в сырой земле усталые кости отцов, дедов и прадедов...

Все сняли шапки и перекрестились.

Андрей Алексеевич круто повернул коня, чтобы скрыть от спутников намернувшуюся слезу, и, крикнув: «Гайда!», вскачь понесся к лесу.

Холопы поскакали за ним.

Неширокая тропа вилась змеей и пропадала вдали.

– Я ларец взял, – сказал пестун, ровняясь со своим молодым господином, – уложил в него твой новенький кафтанчик, кой-какие пожитки... Ну и деньжонок малую толику.

– Их-то откуда взял?

– А из укладочки твоего вотчима, – промолвил Матвейч равнодушно.

– Вот это худо. Ведь это выходит, что ты украл, – вскричал молодой человек.

– Не для себя взял, а для тебя. А деньги-то больше твои, чем Некомата: от тебя же он их нажил. Да и много ль я взял? Ему вдосталь осталось.

– А все-таки я бы...

– Э, господине! – перебил его Большерук. – Старый человек, знаю, как без денег быть на чужой стороне... Не о себе пекусь – что мне! Я уж и жизнь больше как наполовину прожил – о тебе заботушка. Помню я, как матушка твоя в смертный час сказала: «Береги Андрюшу, Матвеич, не дай сироту обидеть». Побожился я ей перед святой иконой. И вот те крест, не было у меня с тех пор иной заботы, кроме как о тебе.

Что-то нежное зазвучало в голосе старика.

– Спасибо, Матвеич, – с чувством промолвил юноша. – Тоже люблю тебя, как родного.

– Спасибствовать за что же? Сердце у меня трепыхалось, как узнал я, что вотчим супротив тебя задумал. И слава Тебе, Господи, что теперь мы ослобонились от него.

– Ослобонились ли?

– Бог поможет. Он, милостивый, все устроит. Уйдем от погони. Да и знаю я здесь один путек скрытный. Одначе подгоним коней...

Лошадей подхлестнули, и мерный топот понесся по тихому лесу...

Станный сон пригрезился Суровчанину. Ему снилось, будто он – Некомат – большой паук, а пасынок его, Андрюш-

ка, — крупная оса.

И Андрюшка-оса будто бы — зуу! — летает, жужжит вокруг отчима-паука; и жало выпустила и кольнуть готова.

А он-паук за ней гоняется, челюстями шевелит, протягивает мохнатые ноги — вот-вот схватит.

И как будто — цап! — схватил. А оса вдруг как ужалит... Забился, заметался паук...

Вскрикнул купец и проснулся.

В доме мертвая тишина.

Чуть мерцают лампы.

Сквозь окно брезжит тусклый рассвет.

Уставился Некомат на оконный переплет и перевел дух.

— Фу! Вот сон! — проворчал Суровчанин и сел на постели. — К чему такое приснилось? Надо думать — не к добру.

Прилег было снова.

Не спится.

Встал, накинул старенький охабень и зашагал по опочивальне.

«Даже во сне снится, — думал он. — И тут покоя не дает. И во сне и наяву... Да, отделаться, отделаться от него поскорей. Сбыть с рук. Тогда я сам себе голова. Мне с ним не житье, прямо не житье... Можно сказать, век мой заедает. Что я при нем? Ничего. Долго ль ждать, как все от меня отнимет? Ступай, дескать, на все четыре стороны. У него уж ус пробивается...»

Он шагал крупно и быстро, и его широкая фигура колы-

халась в такт шага.

По тихому дому гулко раздались чьи-то торопливые шаги. Потом голос Пахомыча за дверью спросил:

– Не спишь, господине?

– Нет. Что тебе?

Ключник, кое-как одетый, бледный, предстал на пороге опочивальни.

– Беда стряслась, – промолвил он, – Матвеич и Андрон убегли. И трех коней угнали.

Как ни был Суровчанин изумлен этим известием, однако не мог не заметить некоторой странности: бежали двое, а коней увели трех... Почему именно трех? Если б хотели ехать одвуконь, так взяли бы четырех – у каждого был бы один конь под верх, другой в запасе.

– Дивно, что трех, – прошептал он.

Потом стал соображать под плаксивый голос ключника: «Андрон – племяш Большерука. Дядя пошел наутек, ну и его прихватил, чтобы я на Андроне злобы не срывал... Это все так... А вот с чего Матвеич на старости лет в бега ударился? Жил-жил, и вдруг на! Да и как он смог своего любимца Андрюшку оставить? Что-то тут не так... Не Андрюшкины ль тут шутики?... Да какие ж могут быть? Может, без моего спросу послал их куда? А не спросил нарочно, чтобы власть свою показать... Лучше всего будет самого Андрюшку и порасспросить. Ему, верно, поболее нашего ведомо. Может, ему Матвеич что-нибудь за тайность и раньше сказал. Недаром

вчера Андрей кислым таким ходил...»

Придя к такому заключению, Некомат сказал Пахомычу:

– Пойдем к Андрею... Не знает ли он чего.

Он пошел к горнице пасынка. Ключник, вздыхая, поплелся за ним.

Каково же было изумление Суровчанина, когда он нашел комнату пустою! При отблеске рассвета можно было видеть царивший в ней беспорядок; там и сям были раскиданы вещи; какой-то узелок, вероятно забытый второпях, лежал на лавке.

– Вот для кого третья-то лошадь понадобилась, – вскричал он. – Убег... Знать, проведаль... Теперь все пропало!

Он схватил себя руками за голову.

– Господи помилуй! – воскликнул испуганно Пахомыч.

– Что ж делать теперь? – растерянно прошептал Некомат. Лицо его исказилось злобой.

– Ускользнул... Ушел... Так нешто мне теперь погибать? Так нет же, нет! Поймаю, и тогда...

Он погрозил кулаком.

Потом крикнул ключнику:

– Подними всех холопов... Седлать коней! Поскачем в погоню.

Вскоре весь дом пришел в движение.

Некомат сам осмотрел следы. Они поставили его в тупик.

– Путь не к Москве... Али они кружным путем?

Холопы на конях были разосланы во все стороны.

Сам Суровчанин во главе конной ватаги поскакал по следам.

Он был вооружен, как для битвы; глаза его метали искры, брови нахмурены.

Не добром веяло от его лица; если погоня удастся, Андрею Алексеевичу предстояло мало хорошего.

Следы то тянулись гусем, то, когда тропка становилась шире, выравнивались в линию; то они были ясно видны на сырой почве, то о них приходилось только догадываться, когда путь шел мелкой травой или пушистым мхом.

– Догоним! – ворчал Некомат, кусая усы, и погонял коня не жалея.

Рабы неотступно следовали за ним.

По их сумрачным лицам трудно было угадать, как они относятся к побегу двух своих товарищей и Андрея Алексеевича.

Но иногда в глазах некоторых, когда они взглядывали на гневного господина, мелькало словно злорадство.

Скачка по лесной тропе продолжалась несколько часов.

Вдруг следы круто свернули в сторону, в чащу, и разбежались между деревьями.

Выслеживать стало значительно труднее.

Суровчанин напряг все свое внимание, чтобы не потерять их.

Ехать приходилось медленно.

– Этак мы до вечера проплутаем, – сердито ворчал Неко-

мат.

Слышно было, как вдали журчит ручеек.

К нему-то и привели следы и разом оборвались. Они в буквальном смысле канули в воду.

– По нем ехали, благо не глубоковод, – сказал купец.

Он слез с коня и внимательно стал рассматривать песчаное дно. Ручей был очень неглубок, и вода прозрачна, но течение быстрое. Дно казалось совершенно ровным; никаких следов не виднелось.

Суровчанин был близок к отчаянию.

Но все же он еще не хотел «слагать оружия».

– Ручей не велик... В ту сторону им не рука была ехать... Где-нибудь должны же были на берег выехать... – соображал он.

Хлестнул коня и поскакал по берегу вниз по течению ручья.

Холопы безмолвно последовали за ним.

Вскоре ручей стал шире, а дно его, по-видимому, более илистым.

Далее появилась обильная осока, а затем глазам представилось обширное болото с там и сям разбросавшимися кочками.

Некомат хотел было ехать далее, но один из рабов удержал его коня за узду, промолвив:

– Дальше нельзя... Трясина засосет...

Купец смотрит на болото с искаженным от отчаяния и

злости лицом.

«Ускользнули!.. – проносилось в его голове. – Но как? Не на крыльях же они перелетели трясину».

Конечно, они не перелетели на крыльях: и для многих из сопровождавших Суровчанина холопей не было тайной, что через болото тянется, чуть поправей от устья ручья, полоска твердой земли. По ней беглецы и выбрались.

Ни один из рабов, однако, по какой-то причине не захотел поделиться с господином своим знанием.

На некоторых лицах мелькали насмешливые полуулыбки. Опустив на грудь голову, недвижимый, как статуя, сидел на коне Некомат.

В груди его kloкотало бессильное бешенство и отчаяние. Он понимал, что дальнейшее преследование невозможно, что беглецы ускользнули.

Медленно повернул он коня и глухо промолвил:
– Домой!..

К его приезду большинство из посланных на разведки холопей уже вернулись. Он видел по их лицам, что поиски не увенчались успехом, и не стал расспрашивать.

Пахомыч встретил его с грустным лицом и, увидев, что беглецов не поймали, всплеснул руками и заахал.

Некомат прошел в дом и стал раздумывать, что предпринять.

Положение его было не из веселых.

«Ежели ему все известно, – думал купец, – так, может, он

прямо поехал к великому князю ударить на меня челом... Тогда дело плохо. Андрюшка выдаст все бесприменно... Пожалуй, моей голове не уцелеть. А ежели он не в Москву уехал, так куда ж? Может быть, думает где-нибудь побыть до поры до времени, а там и нагряться... Коли и так, то сладко ль мне здесь сидеть да дожидаться его? Небось не помилует?... По всему видать, что мне здесь оставаться не рука, а тоже надо наутек. Эх, вот горе! Да и бежать-то куда, не знаю... Хорошо, что хоть деньжонки есть...»

Он достал из одной из укладочек, стоявших в простенках, дубовый ларец, окованный железом, и раскрыл его.

Взглянул и ахнул:

– Ахти, добрая половина отсыпана! Добрался Андрюшка до моих денег.

Рядом со злобой шевельнулось в душе жгучее чувство жадности.

– Обокрал! А я-то копил – хранил...

«Казны» еще оставалось много, но это мало утешало купца.

– Лучше бы всего, чем мне отсюда бежать, – продолжал он размышлять, – узнать бы, где он укрылся, да как-нибудь и того... Это было б ладно... Тогда бы и денег не жаль. Да где его найдешь? Как узнаешь? И выходит, либо сиди у моря да жди погоды, либо беги... К знахарю, что ль, съездить? Колдовство поможет, пожалуй... Пусть знахарь мне только скажет, где Андрей и что замыслил он... А там я уж зевать

не стану... Да это было бы ладно!..

Суровчанин был сыном своего века и, как все в ту эпоху, суеверен. Он твердо верил во всяких ведъм и колдунов, в русалок, леших, домовых и водяных. Он не сомневался, что чарами можно напустить порчу на человека, проникнуть в будущее, привлечь любовь и т. д.

Не удивительно поэтому, что он ухватился за мысль о колдовской помощи.

В его глазах это было единственным средством, могущим привести к цели.

А колдуна не надо было долго искать.

У запруды на Яузе жил всем ведомый колдун, мельник Хапило.

Про него ходили разные рассказы. Поговаривали даже, что из трубы его избенки однажды вылетел бес в виде черного ворона. Ночью мимо мельницы ходить побаивались.

К этому-то чародею и надумал обратиться Некомат.

Однако действовать надо было осторожно.

Узнают, что он был у Хапилы, пойдут толки. На него даже начнут смотреть косо и чураться.

— С колдуном возится... Может, и сам с нечистым знается!

Такая молва не могла быть приятна для купца. К тому же колдуном прослыть было и небезопасно: при народных бедствиях, вроде повального падежа скота, засухи и т. п., зачастую обвиняют колдунов, что это они «напускают», и тогда с ними жестоко расправляются.

Все это было хорошо известно Суровчанину, и он решил пробраться к мельнику ночью, в глубокой тайне.

Приняв решение побывать у Хапилы, он даже как будто повеселел. В сердце зародилась маленькая надежда.

Когда стемнело и все в доме заснуло, он осторожно вывел коня, сам оседлал и, разобрав часть плетня в огороде, выбрался из усадьбы.

V. Чародей Хапило

К северу от Москвы из болот, за нынешней деревней Большие Мытищи, среди дремучего леса, вытекает на юг река Яуза⁵ и впадает в Москву-реку «ниже города».

Нынешняя Яуза едва ли имеет какое-нибудь сходство с прежней. Она славилась чистотою воды, так как принимала в себя много лесных родников.

Берега ее были пустынные. Только шум лесов вторил звучному плеску ее волн.

В Яузу впадает речка Сосенка.

На этой-то речке, над запрудой, и высилась мельница Хапилы⁶.

Было около полуночи, когда к воротам двора колдуна подъехал всадник.

Он легко спрыгнул с седла, привязал коня к кольцу у ворот и постучал.

Проглянувший месяц озарил бледное, красивое, молодое, безусое лицо.

⁵ Впервые река Яуза упоминается в Тверской летописи под годом 1156: «Князь великий Юрий Всеволодович заложил град Москву на устьи Неглинны, выше реки Аузы».

⁶ Вследствие запруды образовался пруд, который был назван Хапиловским. Позднее к северу от мельницы появилась деревушка Хапиловка. Еще позже к северу от пруда построилось село Преображенское, с которым слилась и деревушка Хапиловка.

На стук за забором неистово залаял огромный пес.

Другого отклика не было.

Приезжего брало нетерпение. Он снова постучал так, что ворота затрещали.

На этот раз стук был услышан.

– Кто тут в полночь ломится? – послышался ворчливый старческий голос. – Угомону на вас нет.

– Пусти, знахарь, дело к тебе есть! – ответил путник, который был не кто иной, как Иван Вельяминов.

– Какое такое дело по ночам? Поезжай своим путем-дорогой, а я спать пойду.

– Отвори, старче, отвори! Совет от тебя, помочь нужна... А заплачу хорошо. Ничего не пожалею...

Колдун точно некоторое время был в нерешимости, потом послышались шаги босых ног и ворота отворились.

Пес залился и клубком бросился под ноги входившего.

– Убери пса! – не без некоторого испуга сказал Вельяминов.

– Небось не съест, коли добрый человек! – ответил колдун. Однако крикнул собаке: – Не трожь!

Лай стих, и собака стала смирней ягненка.

Знахарь провел гостя к себе в жилье и, когда тот переступал порог, предупредил:

– Лоб не расшиби! Притолока низкая!

Потом выгреб углей из печи и зажег от них лучину.

Трепетное пламя осветило закоптелую низенькую избу,

наполовину занятую огромною печью из сырцового кирпича.

Повсюду были развешены по стенам и свешивались с потолка пучки высушенных трав.

Воздух, напитанный их пряным запахом, был удушлив.

На лежанке печи сидел большой кот, совершенно черный, «без отметин» – настоящий колдовской – и, мурлыча, пристально смотрел на Ивана своими желтыми глазами.

Сам ведун был маленький тощий старик с крючковатым носом, жидкой бородкой, лысиной на темени и странно блестящими глазами.

– Садись – гость будешь! – сказал ведун, снимая с лавки пучок каких-то свежих трав и очищая место для Вельяминова.

Тот сел.

Знахарь внимательно посмотрел на него и промолвил:

– Сынок тысяцкого?

– Да, сынок тысяцкого, а не сам тысяцкий, как мне пристало быть! – с невольным раздражением ответил молодой человек.

– Знаю, знаю... По княжьей воле... А от меня-то чего ты хочешь?

Вельяминов открыл было рот, но не успел ответить, как в глазах ведуна уже блеснул хитрый огонек.

– Может быть, – процедил он. – Для чего тебе сие знать? Много будешь знать – скоро состаришься.

– Видишь серебро?

Иван подкинул на руке несколько грубо обделанных кусков серебра.

– Все будет твоим, ежели ты...

Тут юноша пододвинулся ближе к знахарю и закончил дрожащим шепотом:

– Ежели ты мне поможешь душу нечистому продать.

Хапило вперил в Вельяминова пристальный взгляд, помолчал и вдруг залился неприятным, резким смехом.

– Чего ее, душу то ись, тебе продавать – хи-хи! – ежели она уж продана?

– Как?! Нет, – с некоторым испугом проговорил Иван.

– Я тебе говорю, продана... Нечистый-то эва с левого плечика стоит, сторожит ее...

В этот момент кот, наежась, быстро прыгнул прямо на левое плечо юноши.

Вельяминов вскочил, бледный, с искаженным от ужаса лицом, и делал усилия стряхнуть с плеча кота, но тот цепко держался, проникая когтями сквозь одежду до тела.

– Ты его оставь, – спокойно заметил знахарь, – он не слезет, он у меня умный... Будешь трогать – поцарапает... Старик я слабый, живу один, только двое у меня и защитников, что пес да кот. Подвернется лихой человек, – пес его за горло, а нет, так кот ему в глазеньки вцепится... Умные они у меня. Сиди, Васька, смирно.

Кот точно этого и ждал: он сел на плече Ивана Васильевича так же спокойно, как раньше сидел на лежанке.

– Он тебя не тронет теперь, молодчик, ты его не трожь. Так нечистому душу? Хе-хе!

– Чего ж смеешься? – с сердцем промолвил Вельяминов.

– Да на тебя мне смешно. Проданную душу продавать хочет!

Потом лицо его сделалось серьезным.

– Погляжу я на тебя – молоденок, силы да здоровья не занимать стать, жил бы себе помаленьку, трудился б во славу Божию и счастье получил бы... А тебе надо все сразу – тятляп да и корап. Ни смиренья нет, ни терпенья... Этакое надумал! Душу продать нечистому. Да уж ты продал ее, продал, как только тебе это на мысль впало. Тебя лукавый враг рода человеческого уж уловил. И думается мне, что ты не вырвешься из его когтей. Дивишься, что от знахаря-ведуна такие речи слышишь? Да, молодчик, вот я и знахарь и ведун; иного полечу, иному – грешным делом – и погадаю, да души-то я нечистому не продавал и помыслить о сем страшусь... И все знахарство-то мое, может, оттого, что жил долго и побольше других знаю... Да... Ты серебрецо свое спрячь – не помощник я тебе в этаким деле. Да ты и без меня сумеешь, ой сумеешь!

Он рассмеялся прежним неприятным смехом.

Вельяминов сидел с угрюмым, почерневшим лицом.

В ворота сильно застучали.

– Чтой-то сегодня! Опять кого-то Бог несет, – проворчал знахарь и вышел из избы.

Иван попробовал было встать, чтобы как-нибудь укрыться от взоров нового посетителя, но кот напомнил о себе таким грозным ворчаньем и так расправил когти перед его глазами, что он счел за лучшее более благоразумным остаться в прежнем положении до возвращения Хапилы.

Со двора доносились окрики знахаря и переговоры, подобные тем, какие пришлось вести раньше Вельяминову.

Пес неистово заливался.

Потом он разом затих: очевидно, колдуну пришлось впустить посетителя.

Послышался скрип ворот.

«Ну, идут сюда», – подумал юноша с таким чувством, что был готов провалиться сквозь землю, только бы укрыться от непрошеного свидетеля его посещения избенки колдуна.

Дверь отворилась, и в избу следом за знахарем вошел Некомат Суровчанин.

Войдя, он остановился как вкопанный.

Он был очень неприятно поражен, застав у Хапилы другого посетителя.

Однако быстро овладел собою и, слегка поклонясь Вельяминову, промолвил, обращаясь к ведуну:

– Кое-зачем ты мне, старче, надобен.

Иван и Некомат не были близко знакомы, но в лицо знали друг друга.

– А надобен, так говори, – сказал колдун.

Как ни тихо говорил Суровчанин, Иван расслышал. Лю-

бопытство его было затронуто.

Хапило, не говоря ни слова, взял большую медную кружку с блестящим дном, наполнил ее до половины водой и поставил на столе.

– Пасынка твоего ведь Андреем Кореевым звать? – спросил знахарь.

– Да.

– Племяш Епифана, что к рязанскому князю отъехал... – пробормотал Хапило, словно соображая.

Взяв щепоть какого-то порошка, бросил его в кружку, отчего вода потемнела, но дно ярко просвечивало.

– Подь сюда да смотри сквозь воду на донышко... Там ты, может, увидишь своего пасынка... Глаз не отрывай и мигай поменьше...

Суровчанин склонился над кружкой, а знахарь что-то забормотал быстрой скороговоркой, плавно проводя в то же время руками над головой и вдоль щек купца.

Через некоторое время Некомат почувствовал словно сонливость. Дно ярко блестело сквозь воду.

– Видишь пасынка? – спросил знахарь таким голосом, словно приказывал.

На гадающего словно налетела какая-то пелена, потом быстро ниспала, сияющее дно исчезло. Вместо него он увидел поляну среди леса и трех всадников, из которых один был Андрей, двое других – Большерук и Андрон.

– Вижу, – ответил купец странным, глухим, не своим го-

лосом.

– Смотри дальше!

И одна за другой проходили картины.

То Некомат видел пасынка в дремучем лесу, у багряного костра, среди ночной тьмы, то переплывающим реки, то подъезжающим к городу, окруженному крепкой стеной с башнями, с бойницами...

Вон какой-то муж обнимает его, как родного...

Старец в княжеском наряде... Величественный, как патриарх...

И старый князь смотрит ласково на Андрея и приветливо улыбается...

Потом Андрей опять, но не прежним скромным юношей. На нем алый плащ... Огнем горит из-под плаща панцирь тонкой заморской работы.

И смотрит куда-то юноша...

Словно на него, на Некомата...

И вот словно встречаются их взгляды.

Грозно смотрят очи пасынка на отчима и словно говорят: «Я не забыл... Вернусь... Идет погибель твоя...»

Вскрикнул Некомат, опрокинул кружку и обвел мутным взглядом каморку, словно внезапно проснулся.

– Значит, беда... Значит, надо все бросать... Бежать... – пробормотал он, еще словно в каком-то забытии.

Провел рукой по разгоряченному лбу и окончательно очнулся.

Взглянул на Вельяминова и вспыхнул.

А тот жадным взглядом впивался в его лицо, следя за всеми переменами выражения. Расслышал он и последние слова Некомата и подумал: «Нашего поля ягода».

Суровчанин встал, кинул несколько грубых монет на стол и сказал:

– Иду... Выпусти меня...

– Я тоже... Поедем вместе. Вдвоем побезопасней, – промолвил Иван и добавил: – Знахарь, возьми свою кошку!

Хапило сделал знак, кот спрыгнул на лежанку.

Вельяминов поднялся и прошел вслед за Некоматом.

Молча вышли за ворота, молча вскочили на седла и тронулись в путь. Обоим надо было в сторону Москвы. Каждый был занят своими думами.

Тусклая луна по временам освещала угрюмые лица. Первым прервал молчание Некомат.

– Ты не сказывай о том, что у знахаря меня видел.

– А ты про меня.

– Вестимо ж.

Помолчали.

– Э-эх! Пропади пропадом буйна головушка, – сказал Вельяминов, – покину родную сторонку... Поеду в чужой край искать счастья...

Эта мысль совпала с думами Некомата.

Он даже вздрогнул.

– С чего так? – спросил он, стараясь принять равнодуш-

ный тон.

– От добра добра не ищут. Что мне здесь делать? То ль дело у князя тверского! У него и почет, и казны добудешь... Такому князю и служить любо... У тебя тоже беда стряслась?

– Н-да, – процедил Суровчанин.

– Слышал я, как ты у знахаря говорил, что пасынок убег. Я его знаю – Андрей Лексеичем звать... Да и тебя тоже. Чай, и меня признал?

– Признал: сын тысяцкого.

– Да, сын его, а не сам тысяцкий, как должно бы быть... Изобидел меня Димитрий Иоанныч... Прямо скажу – отъеду от него в Тверь.

На минуту он замолк, потом спросил решительно:

– Ты ведь тоже бежать задумал?

– Я? Да... Нет... – замялся застигнутый врасплох купец.

– Ты не виляй. Чего таиться? Не выдам. Сам слышал, как ты говорил, что «беда» и что «бежать надо». Хочешь – едем вместе. Говорю – у тверского князя нам будет не жизнь, а масленица. Он московских ласкает. Сразу первыми людьми станем.

– Об этом, брат, надобно подумать. Тебя в Москве дома ждут?

– Кому ждать? Бобыль.

– Так езжай ночевать ко мне. Ну и потолкуем.

– Что ж, можно.

Результатом этой ночевки и «толкования» было то, что че-

рез несколько дней Некомат спешно продал свои московские лавки, а Вельяминов свой дом.

А еще некоторое время спустя оба они бесследно исчезли из Москвы, прихватив с собою нескольких людишек.

Усадьба и поместье Кореева были брошены на произвол судьбы.

Конечно, этим с большой пользой для себя воспользовались «добрые» соседи.

Не положил охулки на руку и Пахомыч, которого Некомат почему-то не счел удобным взять с собою.

VI. Поп Митяй

После погребения последнего тысяцкого отец Михаил – он же Митяй – вернулся в село Коломенское.

Какою убогою показалась ему маленькая деревянная церковь, в которой он служил, после величественных храмов Чудова монастыря!

Каким тесным и жалким представлялось ему Коломенское после Москвы, – уже и тогда довольно обширной, – с ее палатами бояр, с ее церквями, блещущими золотыми маковками!

«Разве здесь мне место? – думал он однажды, стоя у окна в одной из горниц своего маленького дома и смотря на десятки в беспорядке разбросанных лачужек с потемневшими соломенными крышами. – Другие в Москве священствуют, а меня вон куда кинуло. А нешто они ровня мне? Будь я в Москве, на глазах у великого князя, чего б я не добился... Протопопом-то, наверно, давно бы был... Эх-эх!...»

И сердце его усиленно билось от себялюбивых помыслов и от зависти к другим, более его счастливым.

– Великий князь сказал, что не забудет меня, что охочь почаще слышать... Дал бы Бог. А только теперь уже которая седмица идет с той поры, а нового мало...

В это время он заметил молодого человека в подряснике,

подъезжавшего к его дому в маленьком волоке⁷ и оглядывавшегося по сторонам, как будто он что-то искал глазами.

Митяй взгляделся и узнал в проезжавшем одного из митрополичьих келейников.

Затем он услышал, как келейник спросил какого-то прохожего:

– Где тут поп Михайло живет?

– А вот издеса, – донесся ответ.

«Ко мне от владыки!» – мелькнуло в голове Митяя, и он поспешил в сени навстречу приезжему.

Вскоре келейник вошел в дом.

При виде Митяя он сказал:

– Ты отец Михайло будешь? Собирайся сейчас, и едем: владыка тебя требует.

– Зачем? – не без робости спросил поп.

– А уж это мне неведомо.

Через несколько минут Митяй уже мчался в волоке с келейником к митрополичьим палатам.

Когда он приехал, его тотчас же ввели к владыке.

Святой Алексий был не один: с ним находился Димитрий Иоаннович и несколько княжеских приближенных.

Почтительно поклонившись великому князю и приняв благословение от митрополита, Митяй остановился в нескольких шагах от них, склонив голову.

Он чувствовал на себе пытливые взгляды нескольких де-

⁷ Волок – тележка на двух колесах.

сятков глаз и слегка смущался.

– Подойди поближе, отец Михаил, – ласково промолвил великий князь.

И когда тот приблизился, продолжал:

– Не забыл я, как сладостно говоришь ты... Хочу почаще слушать...

– По воле княжеской, – промолвил митрополит, – перевожу я тебя из села Коломенского в Князеву церковь... И будешь ты духовником великокняжеским.

– Рад? – спросил, улыбаясь, Димитрий Иоаннович.

– Рад ли, рад ли? – проговорил дрожащим голосом Митяй.

И не мог продолжать – дух захватило.

Он только земно поклонился владыке и великому князю.

Святой Алексей зорко взглянул на нового княжеского духовника, и по лицу владыки словно пробежала тень.

Быть может, его чистое сердце подсказало, что только мирскими помыслами полна душа Митяя.

Великий князь вскоре его отпустил, приказав «собирать свой скарб не мешкая, чтобы дня через два и перебраться».

Возвращаясь домой, Митяй, что называется, не чувствовал под собой ног от радости.

«Наконец-то!» – думал он.

Он понимал, что в его жизни наступает перелом, что он находится на пути к богатству и почестям.

Приближаясь к своему домику, он самодовольно подумал: «Скоро мы в палатах проживем!»

Снимая дома свою рясу из грубой, дешевой ткани, он презрительно посмотрел на свою скромную одежду и думал: «Чай, таких-то не станем носить. Нет, нам шелки теперь надобны».

Дьякон, уже слышавший, что за отцом Михаилом приезжали от владыки, подивился перемене, которая произошла в Митяе в продолжение немногих часов: глаза сияли, голова была гордо закинута. Он смотрел спесиво и ходил гоголем.

– Уезжаю, дьякон, из вашего болота, – сказал он, – пора. И то зажился. Здесь ли мне место? Ну, да теперь все пойдет по-новому. Слыхал? Духовником я сделан великокняжеским.

Дьякон сделал удивленное лицо.

– Да, – продолжал Митяй, – в княжьих палатах буду жить... Есть-пить с княжьего стола... Сильным я, дьякон, стану человеком.

– Нас, сырых, отец Михаил, своей милостью не оставь, – униженно кланяясь, сказал собеседник.

На это Митяй покровительственно заметил:

– Не оставлю.

Уйдя от отца Михаила, дьякон поспешил разнести весть по всему Коломенскому о счастье, выпавшем на долю Митяя.

В этот и в следующий день часто скрипели, отворяясь, ворота двора Митяева, впуская разнообразных гостей, приходивших поздравить «с князевой и владычной милостью».

Перед Митяем заискивали, унижались.

Прежние враги его теперь пришли на поклон.

Митяй держал себя с посетителями свысока, слова ронял с таким видом, как будто делает великую честь слушающим.

Его сердце было переполнено радостным чувством удовлетворенного тщеславия.

Мечты его все возрастали.

Уж ему теперь казалось мало быть только великокняжеским духовником. Он мечтал о большем.

Он надеялся приобрести влияние на Дмитрия Иоанновича, стать его правой рукой.

Впоследствии оказалось, что мечты не были неосуществимы.

Счастье благоприятствовало Митяю.

Духовник, умный, начитанный, речистый, с каждым днем все больше нравился великому князю. Дмитрий Иоаннович заслушивался его проповедями, любил подолгу вести с ним душеспасительные беседы.

Часто Митяй – намеренно или нет – во время бесед брал примеры из ближайших внешних или внутренних государственных событий, высказывая вскользь свое мнение о них.

И великий князь каждый раз убеждался, что мнение Митяево здраво и разумно.

Раза два случайно Дмитрий Иоаннович заговорил с ним о государственных делах, и Митяй дал хороший совет.

Великий князь оценил это и мало-помалу стал советовать-ся со своим духовником о делах, ничего общего с церковью

и религией не имеющих.

Митяй действительно становился правой рукой князя.

Вскоре это стало ясным для всех, когда великий князь назначил его печатником, т. е. хранителем своей печати.

Это звание было очень почетным и высоким.

Тут-то Митяй и дал себе волю. Он зажил сам с княжескою роскошью. Он, прежде носивший рясы из крашенины, теперь не довольствовался и алтабасной; он, не имевший прежде во всем своем домишке двух хороших оловянных тарелок, теперь и «ел и пил на серебре».

Его — недавно скромного сельского пастыря, одиноко проживавшего в маленьком домике под соломенной крышей, — теперь окружала целая толпа слуг, богато одетых и послушных малейшему его знаку. На его конюшне стояли десятки великолепных аргамаков; его сани были обделаны серебром, а заморскому ковру, покрывавшему их, как говорили, нет цены.

Пышно, слишком пышно жил отец Михаил.

Недаром же святой Алексей, когда до него доходили слухи о роскоши Митяевой жизни, сокрушенно вздыхал и укоризненно покачивал головой. От светлого ума не укрылось, что великокняжеский любимец печется только о благах земных, что душа его далеко от Бога.

Наряду с тем, как возрастало расположение великого князя к своему духовнику, росло и высокомерие Митяево. Для просителей, для всякого ниже его стоящего люда он был

недоступнее самого Димитрия Иоанновича.

Даже с боярами и приближенными княжескими он держал себя несколько свысока.

Его не любили, многие даже ненавидели, но, зная его силу у великого князя, большинство заискивало перед ним.

Это, конечно, только подливало масла в огонь.

В конце концов он сам стал считать себя каким-то особенным, высшим существом.

Честолюбию человеческому нет границ.

Он, когда-то мечтавший, как о счастье, выбраться из села Коломенского в Москву, теперь уже не был удовлетворен даже высоким званием царского печатника.

Он метил выше и мечтал уже ни более ни менее как о первосвященнической митре.

VII. Враг Димитриев

Время, в которое пришлось жить и действовать Димитрию Иоанновичу, принадлежит к эпохе собирания земли Русской, раздробленной на множество уделов, терзаемой междоусобиями и слабой вследствие такого разделения.

Московское княжество уже крепло и первенствовало, но все же были соперники, желавшие вырвать первенство из рук московского князя.

Таковыми соперниками были, например, Олег Рязанский и Михаил Тверской.

Оба видели усиление Москвы и старались сломить ее могущество.

Князь Михаил Александрович Тверской был молод, умен и отважен; он ясно видел, что рано или поздно Москва может поглотить Тверь. Поэтому он всеми силами домогался отнять от Димитрия Иоанновича для себя великокняжеский сан и, таким образом, первенство перенести на Тверское княжество.

Независимо от этих причин князь Михаил был личным недругом Димитрия.

Вражда началась сравнительно с неважного.

Тверская область, подобно многим другим, была раздроблена на мелкие уделы, подчиненные Твери.

По смерти князя тверского Симеона Константиновича

возник спор, кому наследовать его область. Притязания предъявили князь Василий Михайлович Кашинский и его племянник Михаил Александрович, княживший в Микулине.

Каждый доказывал свои права.

Чтобы решить спор, они прибегли к суду митрополита.

Владыка поручил рассудить их спор тверскому епископу Василию, который признал правым Михаила.

Однако в Москве это решение вызвало неудовольствие.

Великий князь Димитрий Иоаннович знал, что Михаил смел, властолюбив и имеет сильную поддержку в лице грозного Ольгерда, князя литовского, женатого на сестре Михаила. Поэтому он мог рассчитывать, что новый князь тверской едва ли будет мирно сидеть в своем княжестве и спокойно смотреть на усиление Москвы.

Желательнее было видеть тверским князем Василия Кашинского.

Разумеется, обвиненный дядя не оставался доволен решением третейского судьи и приехал в Москву с жалобой на неправильное решение епископа.

Димитрий Иоаннович принял сторону Василия.

Сведав об этом, князь Михаил Александрович покинул уделы и уехал в Литву.

В его отсутствие Василий с князем Иеремией Константиновичем, снабженные войском от Димитрия, опустошили Михайлову область.

Но Михаил тоже не сидел сложа руки.

Ольгерд снабдил его людьми, и он неожиданно нагрянул с литовскою ратью.

Он быстро взял Тверь и пошел к Кашину, где заперся Василий, но епископ Василий сумел примирить князей.

Михаил Александрович получил старшинство над дядей и стал именовать себя великим князем тверским. Однако на этом дело не кончилось.

На тверского князя приехал с жалобой в Москву Иеремия Константинович, прося Дмитрия Иоанновича распределить уделы Тверского княжества.

Великий князь Московский этим поспешил воспользоваться.

Он сумел заманить в Москву самого Михаила и тут предписал ему отдать Городок князю Иеремии, но большего не смог добиться от упорного князя тверского.

Михаил уехал из Москвы озлобленный.

С этих пор вражда Дмитрия и Михаила принимала все более и более острую форму.

Князь Василий Кашинский умер; Дмитрий Иоаннович, как бы для защиты от притеснений сына умершего князя, послал войско на Тверь.

Михаил Александрович снова ушел в Литву, к своему грозному родственнику, и на этот раз его уход печально отразился на Москве.

Ольгерд, князь Литовский, неоднократный победитель

немцев, поляков и русских, хорошо видел старания Димитрия Иоанновича укрепить Русь посредством единодержавия; он видел, что власть великого князя Московского действительно возрастает и что вообще Русь начинает крепнуть и дала себя почувствовать Литве, вырвав Ржев из рук литовцев.

Разумеется, ему хотелось ослабить соседа, становившегося опасным.

Вероятно, именно это желание, а не уговоры шурина заставило его взяться за оружие.

Ольгерд с многочисленным войском, братом Кейстутием и племянником Витовтом, а также с князем смоленским пошел к границам Руси.

Цель похода он тщательно скрывал даже от своих приближенных. В Москве о его походе узнали только тогда, когда литовская рать вторглась в русские пределы.

Изумленный неожиданным вторжением, Димитрий Иоаннович поспешно разослал гонцов по всем областям с требованием войска, а навстречу неприятелю мог выслать только одни московские, коломенские и дмитровские полки под начальством боярина Димитрия Минина.

Князь литовский свирепствовал на Руси, как новый Батый.

Путь его был устлан трупами и пеплом сожженных деревень и городов.

Не было пощады ничему и никому.

Близ Тростенского озера встретился он с Мининым и обрушился на малочисленную московскую рать всем своим войском.

Полки московские были истреблены совершенно.

Потом он двинулся к Москве, к которой еще не успело собраться русское войско.

Великий князь Димитрий Иоаннович затворился в Кремле, так как средств для отражения врага не было.

Три дня Ольгерд неистовствовал под кремлевскими стенами, грабя церкви и монастыри, но на приступ Кремля, тогда уже защищенного каменными твердынями, не решился.

Он ушел от Москвы, а вскоре и из пределов России, но русские долго еще помнили ужасы литовского нашествия.

Спорить теперь великому князю Московскому с Тверским было не время.

Он помирился с ним, выжидая, пока соберется с силами.

Михаил сел на княжение, добытое русскою кровью, но ненадолго.

В 1371 году Димитрий Иоаннович объявил ему войну, взял Зубцов и Микулин и увел множество пленников.

Тверское княжество было ослаблено.

Михаил Александрович опять было убежал в Литву, а потом в Орду, чтобы свергнуть Димитрия посредством татар.

В Орде в то время господствовал Мамай: он сумел соединить в одну две разделенных орды – Золотую и свою Волжскую; номинальным ханом над обеими объявил Ма-

мант-Салтана, а фактически правил сам.

Подобно Ольгерду, Мамай косо смотрел на усиление Москвы; поэтому Михаил, как враг Димитриев, нашел у него ласковый прием и получил ярлык на звание великого князя; ханский посол должен был ехать с Михаилом во Владимир и там провозгласить его.

Но Димитрий успел предупредить своего соперника: во Владимир Михаилу пробраться не удалось – он всюду натыкался на московские отряды, которые по пятам преследовали его.

Кончилось тем, что ему едва удалось убежать в Вильну.

Жена Ольгерда, тронутая несчастьями брата, просила мужа оказать помощь ему.

Воинственный князь литовский в то время «скучал миром».

Он внял просьбам жены, и Литва снова двинулась на Русь.

Однако результат этого зимнего похода был не тот, что прежде.

Правда, литовцы добрались до Москвы беспрепятственно и опять расположились под кремлевскими стенами, но вскоре они увидели себя окруженными русскими войсками, готовыми ударить на них по первому знаку.

Ольгерд тогда попросил вечного мира, но Димитрий Иоаннович согласился только на перемирие – с декабря до июля месяца.

Князь Литовский ушел домой, а Михаил Александрович,

покинутый им на произвол судьбы, опять кинулся к Мамаю и опять получил от него ярлык на великое княжение владимирское⁸.

Он явился на Русь с послом ханским Сарыхожей, но не был признан ни владимирцами, ни другими подданными московского князя.

– У нас есть великий князь... Иного не ведаем, – получал всюду он ответ.

Сарыхожа звал Димитрия во Владимир слушать ханский ярлык.

Московский князь отказался:

– К ярлыку не еду. Михаила в Москву не впущу, а тебе, послу, в нее путь свободный.

После этого Сарыхожа счел возможным только оставить ярлык у князя Михаила, а сам отправился в Москву. Здесь его приняли с честью, щедро одарили, и сочувствие татарского вельможи склонилось на сторону Димитрия.

Михаил, сознав свое бессилие, уехал в свой удел, засел в Твери и, злобясь на великого князя Московского, разорил часть его владений, лежавших по соседству.

Дважды послушавшись грозного Мамаю, Димитрий Иоаннович сознавал, что этим навлек на себя ханский гнев. Не было сомнения, что хан вторгнется на Русь и все предаст огню и мечу.

Бороться с ним Русь еще не была в состоянии.

⁸ Великокняжеским городом считалась в то время еще не Москва, а Владимир.

Забываясь о судьбе своих подданных более, чем о своей личной, Димитрий Иоаннович решился на отважное дело: чтобы умиловить раздраженного хана, он решился сам съездить к нему в Орду.

Народ, помня участь Михаила Ярославича Тверского, замученного татарами, плакал, провожая великого князя.

Но Димитрий был непоколебим. Святой Алексей сопровождал его до берегов Оки, здесь благословил великого князя и его спутников и расстался с ним, поручив его милосердию Божию.

Бог помог Димитрию.

В Орде он был принят Мамаем с почетом. Хан не только утвердил его в великом княжении, но согласился уменьшить дань. Очевидно, татары уже чувствовали силу князей московских и тем дороже ценили покорность Димитрия.

Таким образом, Михаил должен был оставить надежду стать великим князем.

Разумеется, это только еще более его озлобило.

Он делал набеги в московские пределы, великокняжеские воеводы вторгались в тверскую область.

Забавляясь этими незначительными военными действиями, князь тверской лелеял еще мысль сломить могущество Москвы.

Он снова прибег к помощи Литвы. Разорив с помощью литовцев несколько городов, он, однако, опять не достиг цели: встреченные в поле московским войском литовцы заклю-

чили мир и ушли к себе.

Михаил по-прежнему остался князем тверским.

Около двух лет прошло в мире между Тверью и Москвою.

Но тишина эта была перед бурей.

Михаил выжидал только удобного случая, чтобы обрушиться на великого князя.

Наше повествование относится именно к тому времени, когда буря готовилась разразиться.

Князь тверской зорко наблюдал за соперником и подумывал, не пора ли начинать борьбу.

Тут-то к нему и подоспели Некомат и Вельяминов.

VIII. Изменники

В сырой осенний день стражники-тверичи заметили группу всадников, приближающихся к Твери со стороны московской границы.

Зоркий глаз часовых разглядел, что двое ехавших впереди были одеты богаче, чем их спутники, а потому заключили, что первые – господа, а вторые – их холопы.

Рассмотрели они также, что все путники хорошо вооружены, а так как направлялись они прямо к городским воротам, то стражники сочли благоразумным преградить им доступ в город и ранее опросить и разведать, что они за люди и что им в Твери надобно.

Так и было сделано.

Несколько копейщиков стали в ворота и, когда всадники приблизились, очень недвусмысленно направили на них копья.

– Стой!

Путники остановились, но никто из них не думал вынимать оружия.

– Кто такие будете и зачем вам в Тверь? – начал допрос один из стражников.

– Не тебе нас о сем спрашивать, – надменно промолвил передовой всадник, красивый юноша с гордым выражением лица, – о том мы князю скажем.

– Как же так... – замялся копейщик, смутившийся от надменного тона говорившего. – Пока до князя...

Но юноша еще надменнее приказал:

– Веди нас к князю.

И, тронув коня, сделал знак своим следовать за ним.

Стражники растерянно переглянулись и расступились, а один из них пошел впереди в качестве путеводителя.

Путники с любопытством осматривали город. На их лицах было написано разочарование: по-видимому, они находили, что далеко Твери до Москвы!

Вскоре они подъехали к брусяным палатам, на подклетьях, с резным теремом и несколькими вышками-башенками, смотрельнями тож.

Палаты были окружены обширным двором.

– Вот княжьи хоромы. А коли вам к князю, так надобно кого-нибудь из бояр позвать, – проговорил страж.

– Поди и позови, – сказал юноша.

Он говорил тоном власть имущего, и воин беспрекословно повиновался.

Юноша между тем спокойно спрыгнул с седла.

То же сделали и все остальные.

– Твери-то до Москвы далеконько, – промолвил спутник молодого человека, широкоплечий, бородатый мужчина с угрюмым лицом.

– Есть грех. Ну да вот, когда Москву осилим, так и Тверь приукрасим. Почище московских соборы построим.

Стражник в скором времени вернулся с каким-то княжеским придворным, который, по-видимому, был очень недоволен, что его потревожили, и потому очень неприветливо спросил приезжих:

– Что надоть?

– Нужно нам пред очи князевы... Прибыли мы с Москвы челом бить князю, чтоб принял он нас под свою руку... От великого князя Дмитрия Ивановича мы отъехали... Я сын помершего московского тысяцкого Иван Вельяминов, а этот вот – богатый гость московский Некомат Суровчанин. Сделай милость, доведи до князя о нашем приезде и просьбишке.

Узнав, кто такие приезжие и цель их прибытия, придворный смягчил тон.

– Ладно, я скажу князю. Принять не принять – его воля. А вы подите во двор, у крылечка подождите... Может, князю сегодня-то и недосуг.

Вместе с ним Вельяминов и Суровчанин прошли к крыльцу, где остановились, а придворный скрылся в сенях.

Прошло немного времени, как он вернулся и сделал знак следовать за собой, сказав вполголоса:

– Охоч вас видеть.

Можно было бы подивиться такой поспешности приема, если бы прибывшие не были людьми московского князя.

Но в данном случае являлись несколько причин, заставлявших князя без колебания и даже торопливо принять при-

езжих.

Во-первых, их приезд льстил его самолюбию:

– От великого князя ко мне отъезжают – стало быть, чуют, что и я князь сильный.

Во-вторых, перебежчики – или по крайней мере один из них – были в Москве не малыми людьми: сын тысяцкого что-нибудь да значил.

В-третьих, не принять их значило, быть может, не узнать каких-нибудь важных новостей о своем исконном враге – новостей, которые, разумеется, могли бы послужить ко вреду московского князя и на пользу ему, Михаилу.

Когда Вельяминов и Некомат шли по княжеским палатам, сердца их бились учащенно.

Иван был бледен и нервно кусал губы. Руки его, державшие шапку, слегка дрожали.

Суровчанин шел понурым и бледным, не менее своего спутника. Где-то в глубине сердца шевелился неприятный червячок совести и мучительно сосал.

Оба понимали, что наступает решительный момент задуманного дела и что сейчас они совершат величайшее преступление – измену. Но... отступать было уж поздно.

Княжой придворный ввел их наконец в обширную светлицу с громадным образом в углу, увешанную дорогими коврами и пестро расписанной подволокой⁹; лавки были покрыты алым сукном, расшитым по краю золотой каймой.

⁹ Подволока – потолок.

В глубине комнаты, как раз против двери, стояло на некотором возвышении дубовое кресло с резными ручками. На нем сидел мужчина лет тридцати пяти, с умным лицом и живым, несколько жестким взглядом серых глаз.

Это был князь тверской Михаил Александрович.

Рядом стояли два стражника в алых кафтанах, держа в руках блестящие секиры.

Позади толпились несколько ближних бояр.

Войдя, перебежчики покрестились на образ, потом поклонились князю, коснувшись пальцами пола.

Князь окинул их внимательным взглядом, потом проговорил звучным и мягким голосом:

– От Москвы отъехали?

– Да, – заговорил Вельяминов, – невозможно служить у князя Московского... Изобидел он меня до смерти. Сын я тысяцкого Иван Вельяминов... Бью тебе, княже, челом, прими под свою высокую руку.

Почти в тех же словах выразил свою просьбу и Некомат, назвав себя.

– Так вам московский князь не люб? – сказал Михаил Александрович с улыбкой. – Чаете, что я боле люб буду.

– Вестимо, ты не обидишь... А мы тебе верой-правдой послужим, – сказал Иван.

– Головы своей не пожалею, – добавил Некомат.

– Добро, – промолвил князь, – принимаю я вас к себе на службу...

Оба разом низко поклонились.

– Служите хорошо, а я вас не забуду... Надобно мне с вами потолковать. Сегодня за вечерней вы мне крест поцелуете. А после вечерни вот он вас ко мне приведет. – При этом князь указал на боярина, который вел с ними переговоры. – Мы и потолкуем как надо. Теперь, чай, с пути отдохнуть хочется. Он вас пока что сведет в боковушку. Там поотдохните...

Кивком головы князь отпустил их.

Помещение им было отведено довольно-таки неважное. Вельяминов, взглянув на голые лавки, невольно вздохнул по своему московском доме.

Некомат грузно сел и задумался. Лицо его было невесело.

– Что голову повесил? – спросил Иван.

– Так. Скушно.

– А ты не скучай! Все, братику, устроится. Заживем с тобой! Князь ласков, чего ж больше?

Он утешал, но и самому ему было не по себе.

Порою мелькала тревожная мысль: «Как-то здесь повезет. Ну, ежели так же, как в Москве?»

Он прогонял такие думы и старался строить планы один другого заманчивей.

«А главней всего – это подбить князя Михаила на войну с Димитрием... Теперь время – ой, время! – я все князю расскажу, как надобно».

И он стал обдумывать, о чем поведет вечером речь с кня-

зем.

Что касается Некомата, то он никаких заманчивых планов не строил. О будущем он вообще как-то не думал, а, напротив, размышлял о прошедшем: «Как-то Пахомыч в усадьбишке хозяйствует? Чай, грабит как может... Карман набьет... А может, Андрюшка вернулся?»

И невольно мысль его перенеслась к пасынку. Что-то болезненно защемило сердце.

«За что я его убить хотел? Правду сказать, парень ничего себе и добер. Всему делу – корысть вина. Да еще Пахомыч зу-зу да зу-зу... Захотел зла другому, а сделал себе... Вот теперь и в перебежчиках очутился.

Скоро крест позовут целовать. Значит, делу крышка – прощай Москва, сторонушка моя родимая! Ничего не подедаешь – будем Твери служить. Эх ты, жизнь наша!»

Время тянулось убийственно медленно.

Оба почти обрадовались, когда зазвонили к вечерне. Во время ее, как и хотел князь, они поцеловали крест на верность и поклялись на Евангелии служить Михаилу верой-правдой.

Теперь из москвичей они стали тверитянами.

После вечерни их позвали к князю пить сбитень. Михаил Александрович был один; никого из приближенных бояр при нем не находилось.

Он встретил своих новых подданных приветливо.

– Садитесь – в ногах-то правды нет, – сказал князь. – За

сбитень принимайтесь да московские новости выкладывайте.

– Новостей не больно много, – промолвил Вельяминов, принимаясь за душистый медовый сбитень. – Одна только и есть, что теперь самая пора Москву бить.

В глазах Михаила Александровича мелькнул огонек. Но он быстро принял спокойный вид и спросил равнодушно:

– Почему пора?

– Рано ль, поздно ль воевать тебе снова с Москвой придется, – вставил свое слово Некомат. – Чем дольше времени проводить, тем Москва сильнее станет. Дмитрий-то Иванович давно на Тверь зубы точит.

– Это правда, – промолвил Иван. – А почему теперь пора воевать, сейчас скажу. Слыхал ты, что в Нижнем Новгороде приключилось?

– Нет. Пока не слышал.

– А слыхал ты, как татарва на реках Кише да Пьяной расправу чинила?

– Тоже нет.

– Так вот что. Приехали в Нижний послы Мамаевы и с ними татар человек тыща... Ну и эти послы не поладили с тамошним князем Дмитрием Константиновичем. Тот спросил великого князя, можно ль с татарами расправиться. Московский князь прислал весть, что можно.

Тогда Дмитрий Константинович напустил черный народ на татар. Всех их нижегородцы и перебили, а главного посла,

Сарайку, засадили в темницу, а мало времени спустя и его прикончили. Как смекаешь, любо Мамаю о сем было сведать?

– Чай, не любо. Ну и задаст же он Дмитрию Иванычу!

– Малость уж задал: его рать огнем выжгла волость нижегородскую. Да этого мало: Мамай только ждет не дождется, как на Москву кинуться.

– И доброе дело – кинулся бы.

– Надо только уськнуть, – проговорил Некомат.

– Да если б с другой стороны еще Литву напустить, – вполголоса, словно в раздумье, промолвил князь.

– Да еще ты ударишь... Нешто Москве можно бы справиться? Конец ей был бы! – воскликнул Вельяминов, и глаза его заблестели.

– Очень ты, кажись, Дмитрия Иваныча недолюбливаешь? – с полуулыбкой промолвил князь.

– Лютый он враг мой! Головы бы я своей готов не пожалеть, только б ему отплатить. Княже! Послушайся доброго совета: пойді на Москву. Поднимем татар да Литву – разгромим нашего врага.

Михаил Александрович сидел задумавшись.

Глаза его блестели, грудь дышала усиленно.

Он встал и прошелся по комнате.

– А пойдет ли Орда? – вдруг спросил он, остановясь перед Вельяминовым.

– Пойдет. Голова моя порукой. В Москве только и ждут,

что вот-вот она поднимется.

Князь помолчал, потом промолвил:

– Ладно, будь по-вашему: тряхнем Москвой.

– Ой, любо! – радостно воскликнул Иван.

Лицо Некомата оставалось равнодушным.

– Стой, уговор дороже денег: никому об этом ни полслова до поры до времени, – проговорил князь. – И вы меня маните к войне, вы же и помогайте. Валяйте-ка, поезжайте послами от меня в Орду.

– А что ж, хорошо, – сказал Вельяминов.

Суровчанин слегка поморщился.

– Да помните: уговорите хана – озолочу, а не сумеете – так лучше мне и на глаза не показывайтесь. Сам я, пока вы в Орде, поеду в Литву... Отовсюду на Москву тучи двинутся... Сломаем Дмитрия. Ведь ломаем?

– Вестимо ж, – промолвил Иван.

– Ну, теперь идите к себе да отдыхайте. Когда в путь – скажу. И казны вы от меня получите и людишек. Служите верой-правдой; сшибем Дмитрия – вы первыми моими боярами будете.

Он отпустил их кивком головы.

По их удалении он долго еще сидел в глубоком раздумье. Вельяминов вернулся от князя очень довольным.

«Покается теперь Дмитрий Иванович, что не сделал меня тысяцким», – думал он.

Некомат, наоборот, был очень не в духе.

– Поезжай к татарам! – вырвалось у него. – Нечего сказать, любо! Не того я ожидал.

– Э, братику! Зато сполним княжий приказ, так первыми людьми станем, – утешил его Иван.

Он строил воздушные замки.

IX. В литовском бору

Суровый край! Бесконечные сумрачные леса, которые кое-где перерезанные извилистыми мутными ручьями да тропками, по которым удобнее пробираться зверью, чем человеку.

А зверья здесь немало.

Начиная от юркой лисы и кончая страшным, гигантским медведем-стервятником.

А порою затрещит хворост, раздадутся кусты и выставится грозная рогатая голова бородатого тура или зубра.

Глаза налиты кровью, рога – взрывают землю.

Беда встретиться с ним, если он свиреп: всадника вместе с конем опрокинет, убьет рогами, затопчет, и только кровавое пятно останется на седом мху памятью о недавно полных жизни существах.

Знают свою силу тур и зубр и никому не покорствуют.

Даже мишка – уж на что ему силы не занимать – и тот с опаской к ним подходит.

Только в зимнюю пору рискуют на них нападать обезумевшие от голода волки.

Навалятся десятком, вцепятся и рвут на куски.

Половина их падет, другие зато напьются теплой крови.

Не любо тоже встретиться и с вепрем, когда он пробирается сквозь чащу, срезая трехгранными клыками, как прутья,

молодые деревца и мигая тусклыми маленькими глазками...

А дичины всякой иной что! Сила неисчерпаемая.

В летнюю пору стон по лесу стоит от крика, писка и рева.

Теперь, осенью, не то.

Притих бор. Пообсыпались кусты, и не слышать в них возни неугомонных пичужек. Мишка уж подыскивает берлогу, чтобы, как только дохнет стужей да снегом с полуночи, залечь на ложе из листьев и сладко дремать под своею теплою шкурой.

Волки стали поближе к деревням пробираться. Целыми ночами уныло плачет голодная рысь...

Смерклось.

В поле, быть может, еще светло, но под деревьями литовского бора теснится тьма.

Отряд «гусем» растянулся вдоль по узкой тропе.

Кони заморились, у всадников вид усталый. Видно, всем охота на ночлег.

С земли плывет чуть приметная сизая пронзительно-серая дымка.

Хорошо бы теперь костерок из валежника или из сухостоя да каши бы отведать!

Ехавший впереди всадник поглядел на вершины сосен, на которых мерк свет, и придержал коня.

– Нет, сегодня до Вильны не добраться, – промолвил он как бы про себя и потом приказал: – Стой. Будет. Станем на ночлег.

Повторять приказание не пришлось.

Всадники живо спрянули с коней, привязали кто где и раз-
брелись.

Вскоре по бору пошла гулкая перекличка, а еще немно-
го времени спустя задымились и приветливо затрещали ко-
стры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.